

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Юрий СИТЬКО

**БЫТОВАНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ
МЕТОДОЛОГИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
60-х годов XIX века I-ой половины XX века
(на примере понятия части речи)**



Севастополь
Рибэст
2007

УДК 371.161.1

ББК 81

С-41

*Монография публикуется
в рамках реализации
«Программы развития регионального русского языка,
русской культуры в Севастополе на 2007–2011 гг.»,
утвержденной решением
V сессии Севастопольского городского совета V созыва,
протокол № 1621 от 13.03.2007 г.*

РЕЦЕНЗЕНТЫ

доктор филологических наук,
профессор Новгородского государственного университета
им. Ярослава Мудрого (Россия)

Т.В. Шмелёва

доктор филологических наук,
профессор Лодзьского университета (Польша)

М.С. Лабащук

Печатается по решению Ученого совета СГГУ
протокол № 3 от 26.11.07 г.

С-41 Ситько, Юрий Леонидович

Бытование функционально-прагматической мето-дологии в отечественном языкознании 60-х годов XIX века I половины XX века (на примере понятия части речи) [Текст]: [авт. Ю.Ситько]. - Севастополь: Рибэст, 2007. - 130 с.

ISBN 978-966-8277-83-7

Предлагаемая монография посвящена вопросам истории методологии отечественного языкознания и описанию исторических причин возникновения понятия части речи в его современном виде.

Для лингвистов, философов, студентов филологических факультетов и учителей-словесников.

УДК 371.161.1

ББК 81

ISBN 978-966-8277-83-7

© Ю.Л.Ситько, 2007

© Рибэст, 2007

ПРЕДИСЛОВИЕ

Под влиянием господствовавшей в гуманитарных науках на протяжении многих десятилетий марксистско-ленинской философии в её догматизированном виде понятие методологии как науки стало смешиваться в сознании многих советских учёных с идеологией. Следствием этого стало распространённое даже среди современных отечественных учёных пренебрежение собственно методологическими основаниями их научного исследования. Политические преобразования в Советском Союзе и разложение советской идеологической системы привели к глобальным изменениям в социально-политической жизни на всём постсоветском пространстве. В науке это выразилось в исчезновении философско-методологического диктата со стороны государства и возникновении предпосылок для плюрализма не только теоретического, но и методологического характера. Однако «падение» методологического догматизма, связанного с идеологической установкой, естественным образом нейтрализовалось смещением в сознании учёных методологии и идеологии, отвращением к политической идеологии и «методологической идиосинкразией» как следствием такого отвращения, унаследованного с советских времен. Такая идиосинкразия может привести и приводит к методологическому эклектизму и нигилизму и совпадает в настоящее время с заимствованной из новейшей западной философии тенденцией к постмодернизму и деконструктивизму, основной методологической установкой которых является эклектизм¹. Следствием этого является возникновение противоречивых научных теорий, «наличие у лингвиста душевного дискомфорта при обращении к методологическому инструментарию своей науки» [Паршин, 1996: 19], что, безусловно, не способствует развитию на территории СНГ наук вообще и гуманитарных в частности.

На этом фоне функционально-прагматическая методология представляет собой реальную альтернативу сложившемуся в гуманитарных науках положению вещей. Её основной установкой является умеренный релятивизм, который позволяет согласовывать и в известной степени сочетать различные методологические, мировоззренческие и, если угодно, идеологические установки, опираясь на поиск представлений, которые не только учитывали бы и объясняли факты, вскрываемые различными методологическими течениями, но и имели бы практическую значимость, позволяющую объяснять, а не только описывать факты. Так, признавая бытование языка как системы инвариантов, функциональный прагматизм солидаризируется в этом пункте с метафизическими методологическими направлениями (напр., со структурализмом или феноменологией в языкознании); будучи фактуальным по своим методическим установкам, функциональный прагматизм солидаризируется с позитивизмом, отстаивая онтологический антропоцентризм, сближается с экзистенциалистскими течениями и когнитивизмом. В этой связи чрезвычайно важным является введение функциональным прагматизмом понятия функции как взаимозависимого деятельностного отношения. Понятие функции позволяет рассматривать явления как результат сложного деятельностного взаимодействия индивидуума и мира, на основании и в результате которого формируются психосоциальные структуры, включая семiotические. Функциональный прагматизм позволяет учитывать кроме психических (индивидуалистические методологические направления), ещё и социальные аспекты бытования объекта. Таким образом, мы считаем, что на сегодняшний

день исследование и развитие функционально-прагматической методологии является важной задачей отечественной методологии лингвистики.

В историографии отечественной лингвистики накоплено достаточное количество сведений описывающих судьбы конкретных ученых, историю применения тех или иных методов (методик), становление и развитие различных теорий. В то же время (за редким исключением, напр., [Филин, 1935]) практически отсутствуют работы, описывающие историю развития методологии отечественной лингвистики или отдельных методологических направлений как философских оснований лингвистического исследования. Такое положение вещей мы связываем, во-первых, с засильем диалектико-материалистической (а подчас и вульгарно-материалистической) методологии в отечественной науке минувших лет, в рамки которой конкретные лингвистические концепции зачастую не укладываются, а, во-вторых, с упоминавшимся выше пренебрежением учёных к вопросам методологии. На этом фоне одной из глобальных задач истории лингвистики является вскрытие методологических оснований некоторых лингвистических концепций отечественного языкознания и описание бытования в них функционально-прагматической методологии.

В этом плане мы довольно свободно сформулировали свой объект, который понимаем как динамику и взаимодействие методологических воззрений во взглядах лингвистов. Этот подход несколько отличается от ставшего уже почти каноническим подхода Т. Куна, который, как он сам признавал, свёл динамику науки к социологическим явлениям в научной среде. Наш подход представляется тем более обоснованным, что рассматривать изменения в отечественной лингвистике, особенно в XX веке с его войнами, революциями и сменами идеологических императивов, в терминах куновской «нормальной науки» кажется некорректным. Потому в центре нашего исследования оказались функционально-прагматические философско-методологические основания лингвистических концепций в применении к грамматическим исследованиям их авторов. «Оселком» проверки принадлежности взглядов того или иного учёного или научного направления к функционально-прагматической методологии мы избрали решение вопроса о части речи и её положении в языковой системе. Таким образом, наш подход в методологическом плане продолжает не столько линию Куна, сколько функционалистские взгляды И. Канта (критического периода), прагматизм У. Джемса (позднего периода), К. Поппера (идея фальсификационизма как основы научного исследования). Важнейшей составляющей концепции, представленной в этой книге является функционально-прагматическая теория языковой деятельности проф. О.В. Лещака.

Именно проф. О.В.Лещаку автор обязан многими теоретическими основаниями этой работы и пользуется случаем выразить свою благодарность в печатном виде и публично. Не меньшей признательности заслуживает та работа, которую продавали рецензенты проф. Т.В.Шмелева из Новгородского университета и проф. М.С.Лабашук из Лодзьского университета. Их тактичные замечания и взвешенные советы позволили устранить из работы много погрешностей. Однако и они не всемогущи, потому все оставшиеся недостатки текста, безусловно, принадлежат автору.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Методологическая концепция, представленная в данной главе, является прямым продолжением философских взглядов И. Канта. Она развивалась в работах Ч. Пирса, У. Джемса, Дж. Дьюи (взгляд на опыт как на субъективное переживание, «поток сознания»; рассмотрение идей и теорий как инструментов познания, значение которых сводится к практическим следствиям), К. Поппера (принцип фальсификации; дедуктивно-номологическая схема объяснения; понимание вероятности как предрасположенности). Значительный вклад в формирование функционально-прагматического подхода в отечественном языкознании сделал Б.А. Серебренников [Серебренников, 1983], хотя его взгляды нельзя однозначно охарактеризовать как функционально-прагматические. Применительно к потребностям функциональной лингвистики она была интерпретирована О.В. Лещак (его основные работы приведены в списке литературы). Именно эта версия функционально-прагматической методологии легла в основу этой работы.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ЛИНГВИСТИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

Важнейшим положением функционально-прагматической методологии является постулат о психо-социальной природе человеческого опыта и, следовательно, всякого человеческого смысла. Вслед за И. Кантом мы рассматриваем опыт как чисто субъективное, менталистское, антропологическое явление, которое принципиально отличается от метафизического понимания опыта как объективной и надличностной сущности тем, что является опытом конкретного человека. Мы принимаем кантовский тезис о том, что мир существует для нас только в том виде, как мы его можем воспринять в силу человеческой способности воспринимать, ограниченной нашей природой. Это объясняет невозможность в рамках функциональной методологии исследования существования объективного, метафизического, внеличного опыта, поскольку наши перцептивные (эстетические в терминологии Канта) способности не приспособлены к такому восприятию. Такая постановка вопроса выдвигает на передний план проблему соотношения реального мира и возможного опыта. Это противопоставление, с одной стороны, делает возможным существование мира и человека в нём (как части этого мира), а с другой – ограничивает существование мира для человека условиями его (человека) возможного опыта. Мир существует для субъекта в той форме и постольку, поскольку человек может его постигать в опыте. То же касается и мира людей (общества) и его важнейшей составляющей – мира социальной коммуникации. Однако возможности человеческого опыта постоянно изменяются и, изменяя характер самой опытной деятельности, меняют также понимание мира как совокупности объектов возможного опыта. Мир для субъекта

меняется вместе с ним. Возможный опыт, это не только то, что субъект узнал или узнаёт, это и то, что он способен узнать. Такой взгляд на онтологический статус человеческого опыта позволяет видеть в человеке субъект предметной деятельности (опыта) и субъект формирования смысла, под которым понимается форма видения мира сквозь призму опыта (прошлого, настоящего и возможного). Этим можно объяснить способность субъекта правильно прогнозировать и реализовать свою предметную деятельность, и, вместе с тем, отвечать на вопрос, почему на каждом новом этапе реализации возможного опыта человек несколько по-иному понимает мир, чем его предшественники или современники, иначе, чем его соплеменники или представители иных культур.

Существенной характеристикой разделяемого нами кантовского понятия опыта, отличающей его от субъективно-рационалистического опыта картезианского субъекта, является то, что опыт у Канта – это обобщённый, обобщаемый, инвариантный опыт, а не элементарный опыт актуального положения вещей. Вслед за И. Кантом мы противопоставляем суждения восприятия и суждения опыта по критерию наличия или отсутствия маркированного состояния сознания. В процессе конкретного сенсорного восприятия, по мнению Канта, состояние сознания маркировано, опытное же суждение есть суждение нейтрального, т.е. инвариантного состояния сознания. Именно это – размежевание потенции и акта, динамик и энергий – и сближает позицию Канта и Платона, как сближает позиции метафизики и функционально-прагматической методологии. Однако существенно то, что Кант экстраполировал эти идеи на субъективное человеческое сознание как субъект смысла, чего не сделали метафизики, считая смысл объективным явлением. Итак, вслед за Кантом, функционально-прагматическая методология понимает опыт как обусловленные доопытными (априорными) формами рассудка данные восприятия и их синтез, производимый воображением. Опыт, таким образом, представляет в психике человека «вещь в себе» как «вещь для нас», будучи результатом аффицированных трансцендентных ощущений. Опыт, как и любая другая информация в качестве «социально-ориентированной функции мозга человека, необходимой и возможной именно в силу необходимости и возможности вступать в отношения с другими людьми и с окружающим миром нашего возможного опыта» [Лещак, 1996: 50]. Опыт рассматривается как *causa finalis* смысла, который по пространственному признаку локализуется функционально-прагматической методологией в психике человека (ментализм – как основной принцип функционально-прагматической методологии), а по темпоральному признаку локализуется как детерминированный деятельностью индивида, то есть, рассматривается как возникающий в опыте субъекта. Согласно данному положению, языковая деятельность представляет собой детерминированное деятельностью индивида ментально-семиотическое явление. В лингвистике такая точка зрения идёт ещё от Ф. де Соссюра, который противопоставил язык речи как психическое психофизиологическому [Соссюр, 1998: 143–155], и опирает-

ся на стремление учитывать при изучении любого явления вообще и языка в частности «человеческий фактор» [Дешериев, 1977: 100].

Категория опыта, тесно связывающая когнитивную (смыслообразующую) деятельность индивида с предметным (феноменальным) миром через предметную деятельность этого индивида, содержит в себе существенный момент, отличающий функциональную языковую личность от т.н. картезианской, т.е. персоналистической языковой личности. Это момент общности опыта. Опыт в отвлечении от конкретной эмпирической ситуации оказывается обобщенным опытом. Введение понятия «состояние сознания» есть не что иное, как установка субъекта (функция отношения субъекта к опыту). В каждый момент деятельности, в каждом речемыслительном акте человек пребывает в состоянии выполнения функции или ролевой установки, но в это же время человек не перестаёт потенциально быть готовым к выполнению массы иных функций и ролей. Следовательно, сознание – это функция соотношения субъекта к миру. «Быть человеком, – писал В. Франкл, – означает находиться в отношении к чему-то или кому-то иному, нежели он сам» [Франкл, 1990: 77]. На этом основании мы, солидаризируясь с мнением О.В. Лещака, утверждаем, что «с позиций функциональной методологии язык – не просто субъективная способность личности, но социально ориентированная функция мозга человека, необходимая и возможная именно в силу необходимости и возможности вступать в отношения с другими людьми и с окружающим миром нашего возможного опыта» [Лещак, 1996: 50]. Это определение онтологического статуса языка мы в данной работе принимаем как основное при оценке принадлежности онтологических взглядов того или иного учёного к функциональной методологии.

Взгляд на смысл как на ментальное (антропоцентрическое), детерминированное опытом субъекта образование предполагает дуалистическое противопоставление субстанции и процесса. Дуализм субстанции и процесса носит в функционально-прагматической методологии глобальный характер и заставляет рассматривать любой объект и как субстанциональное, статическое, инвариантное явление и как процесс динамического изменения результатом и предпосылкой которого является статика. Применительно к языковой деятельности как объекту функционально-прагматической лингвистики противопоставление субстанции и процесса оказывается наиболее ценным при различении инвариантных (субстанциональных, статических) и фактуальных (процессуальных, динамических) явлений языковой деятельности вообще и смыслов, в частности. Так, инвариантный смысл мы, вслед за О.В. Лещаком, рассматриваем как «уже наличествующую в сознании информацию» в противовес фактуальному как «возникшему в сознании как реакция на меняющиеся условия предметной деятельности» [Лещак, 1996: 89]. Этот взгляд восходит к идее де Соссюра о языке как об основании и норме всех проявлений языковой деятельности [Соссюр, 1998: 20]. Таким образом, субстанциональный, инвариантный смысл в онтологическом плане мы рассматриваем в данной работе как ста-

бильное психическое образование, возникшее в процессе упорядочения субъектом данных своего опыта. В противовес инвариантному смыслу, фактуальный смысл мы рассматриваем как актуальное психическое образование, возникшее из применения субъектом инвариантного смысла к актуальному опыту [Лещак, 1996: 89]. Таким образом, противопоставление субстанции и процесса в применении к вопросу о смысле принимает форму противопоставления инвариантного и фактуального, которые относятся как общее к частному. Дуализм субстанции и процесса пронизывает все положения функционально-прагматической методологии и заставляет рассматривать объект исследования как с генетической (один из аспектов динамики), так и со статической (субстанциональной) точек зрения. В частности, в применении к вопросам лингвистики, оно воплощается в противопоставлении инвариантно-модельной (языка) и процессуально-результативной (речи) сфер, которые, в свою очередь, могут рассматриваться и как субстанция, и как процесс. Вообще дуализм субстанции и процесса заставляет рассматривать любой объект как с первой, так и со второй точек зрения. Одним из наиболее известных в истории лингвистики примеров дуалистического разведения субстанции и процесса мы считаем противопоставление Ф. де Соссюром синхронии и диахронии как методических принципов исследования языка. Однако, как мы пытались показать [Ситько, 2000, I], само по себе, без соотнесения с онтологическими и гносеологическими аспектами исследования, оно может привести к противоречиям в научной теории.

Функционально-прагматическая методология рассматривает языковую деятельность индивида в качестве лишь одного, хотя и довольно важного, аспекта общей семиотической деятельности человека. Такая точка зрения предполагает отказ от взгляда на язык как на квинтэссенцию человеческого семиозиса. Вербальный знак при функционально-прагматическом подходе рассматривается как один из результатов семиотической деятельности, предполагающей наличие: 1) смысла как невербальной информации и объекта означивания, (что отрицает взгляд на мышление как на сугубо вербальный процесс); 2) семиотической системы вербального кодирования; 3) процессов вербального кодирования (составляющие которых находятся в отношении субстанции и процесса, инварианта и факта); 4) результатов кодирования, (применительно к языковой деятельности таковыми являются речевые единицы). Признание языковой деятельности лишь одной из составных семиотической деятельности человека заставляет согласиться с идеей о формирующей роли языковой деятельности по отношению к сознанию (гипотеза Сепира-Уорфа, теория Л.С. Выготского, взгляды неогумбольдтианцев) и утверждать, что язык является одним из основных факторов формирования мышления и его структур. Но, с другой стороны, такая точка зрения заставляет предположить, что языковая деятельность и сама должна быть детерминирована явлениями психики человека и происходящими в ней семиотическими процессами. Как справедливо отмечал Б.А. Серебренников, у нас нет никакого повода утверж-

дать, что «у японцев и китайцев нет никакого понятия о множественности одушевлённых предметов. Это понятие дано им на опыте» [Серебренников, 1983: 137]. На этом основании мы не можем согласиться с точкой зрения, согласно которой язык является телеологическим продуктом мыслительной деятельности [Чесноков, 1966; Панфилов, 1971; Панфилов, 1977]. Напротив, мы считаем, что всякая телеология (прагматика) является продуктом опытной деятельности индивида. С точки зрения функционально-прагматической методологии язык как человеческая универсалия не является наиболее общей и предполагает наличие других опытных универсалий, которые непременно должны влиять на формирование личности вообще и её языковых структур в частности.

С точки зрения функционально-прагматической методологии любой объект представляет собой взаимовоздействующее отношение (функцию) минимум двух элементов, находящихся в отношении взаимозависимости. Функция как элемент человеческого опыта представляет собой отношение установленное индивидом в процессе предметно-коммуникативной деятельности и позволяющее ему эффективно (прагматически) её осуществлять. При данном подходе функция не рассматривается как сумма своих элементов и не тождественна ей (ср. [Выготский, 1982]). Напротив, вслед за Соссюром, функционализм рассматривает функцию как целостное явление. Слово, как функция с точки зрения функционально-прагматизма, является полностью произвольным явлением: «Здесь нет того, что должно было бы назвать отражением. Связь здесь устанавливается самим человеком» [Серебренников, 1983: 71]. Понимание функции как деятельностной связи, как целенаправленного прагматически ориентированного взаимоотношения, дефинируемого через понятие целесообразной деятельности субъекта, заставляет дистанцироваться от рационалистского представления о смысле как о наборе «атомов», поскольку такой атомизм предполагает «обречённость» субъекта, оперирование индетерминированными, внешними по отношению к деятельности субъекта, смыслами, в противовес функционально-прагматическому взгляду на онтологию смысла как опытно обусловленного явления. В то же время, постулирование функции как основного способа представления объекта исследования предполагает отрицание метафизического абсолютизма, зиждущегося на постулате реальности смысла и его существования вне зависимости от конкретного субъекта, т.е. на понимании смысла как над-, сверх- или внечеловеческого.

С точки зрения функционально-прагматической методологии, всякая информация представляет собой прагматическую значимость, ценность. Как и любая другая функция (отношение), она может существовать лишь до той поры, пока она остается релевантной, т.е. пока и знак, и значение, и отношение между ними могут быть интерпретированы и расценены субъектом как ценные (значимые). Утрата такой релевантности предполагает исчезновение информации. Такая точка зрения не предполагает определения знака как монологического и непременно материального явления,

как это утверждают некоторые исследователи [Солнцев, 1977; Панфилов, 1977]. Напротив, информация становится возможной и существует, с точки зрения функционально-прагматизма, только как знак, как функция (отношение) означающего и означаемого [Мельничук, 1977]. При этом следует заметить, что «материальность» означающего не является, на наш взгляд, непременным атрибутом знака, поскольку знак как способ представления информации может выполнять не только коммуникативную функцию, но и чисто вспомогательную применительно к потребностям субъекта (например, вполне можно допустить существование своего рода «языка мышления» [Жинкин, 1964]). Таким образом, с точки зрения функционального прагматизма, информация, будучи лишь релевантным с точки зрения её носителя отношением, не обязательно должна эксплицироваться в материальных манифестациях.

Итак, языковая деятельность как объект исследования с точки зрения функционально-прагматической методологии представляет собой ментальное явление, предстающее перед нами и в качестве процесса, и в качестве субстанции. Данное явление, будучи ментальным, не тождественно мышлению и, хотя находится с ним в функциональном отношении (отношении взаимной обусловленности), является видовым по отношению к деятельности индивида. Такое отношение языковой деятельности к мышлению и деятельности индивида позволяет ему быть носителем информации, которая также рассматривается нами как отношение между разными элементами (языковой деятельности, мышления и т.д.).

Одной из проблем нашего исследования является адаптация положений функционально-прагматической методологии к нуждам грамматики и оценка отечественных грамматических учений с точки зрения их отношения к данной методологии. Прежде всего, следует определиться с онтологическим статусом грамматики как подсистемы языка. Говоря об онтологии грамматики, мы имеем в виду не столько экзистенциальный статус грамматической информации (хотя можно было бы здесь говорить о нейрорепсихофизиологическом субстрате языковой деятельности), сколько бытийный статус грамматического как семиотического. Вопрос о материальном субстрате, на наш взгляд, просто нерелевантен для лингвистики.

Говоря о грамматическом как о семиотическом, следует задаться вопросом, какое отношение грамматической информации к внеязыковой реальности можно и следует считать функциональным и прагматическим. Основное требование представляемой здесь методологии заключается в том, чтобы каждый рассматриваемый в её рамках объект был представлен (осознавался) как функция, т.е. значимое и целевое отношение. В этом смысле языковое как семиотическое всегда рассматривается в двух равнозначных аспектах: структурном и функциональном. Первый аспект касается характера структурной связи языковых единиц в системе (их парадигматических и синтагматических отношений). Этот аспект был в наиболее чёткой форме представлен в теории Ф. де Соссюра. Второй же аспект – функциональный – предполагает прагматическую нацеленность единицы

на выполняемую ею роль. Оба аспекта должны быть тесно взаимосвязаны: место единицы в системе ставится в зависимость от выполняемой роли, а её функционирование – от места в системе.

Исходя из постулатов о дуализме языкового знака и дуализме языковой деятельности, мы склонны рассматривать грамматическое, во-первых, как выразительное, а во-вторых, как модельно-процессуальное (динамичное). Тем самым мы противопоставляем грамматическое лексическому как, прежде всего, интенциональному (когнитивному) и субстанциональному (статичному). Оба положения требуют разъяснений.

Грамматическая информация рассматривается нами (в функциональном плане) как информация о способе языковой экспликации интенционального когнитивного смысла, в то время как лексическое – в качестве информации об инвариантной картине мира или, иначе говоря, о когнитивном членении человеческого опыта. Лексическое сопряжено со способом миропонимания и мировидения, принятом в данной культуре, а грамматическое – со способом коммуникации и социального поведения. Сказанное совершенно не значит, что лексическое понимается исключительно как содержательное (семантическое), а грамматическое – как формальное. Грамматическое столь же семантично, что и лексическое. Просто это совершенно иной тип информации. Он касается не того, о чём говорится, а того, как об этом говорится.

Второй аспект нам представляется ещё более важным, поскольку устанавливает дистрибуцию в плане субстанционального или процессуального характера бытования исследуемого объекта. В этом смысле акцент смещается с противопоставления плана содержания плану выражения языкового знака, в область более глобальной оппозиции системы знаков (информационная база языка) системе моделей (внутренняя форма языка). Такое понимание противопоставления грамматического и лексического вскрывает суть функционально-прагматического характера методологического мышления, поскольку полагает в центр теоретизирования идею о значимости (релевантности, ценности) информации. В первом случае (в пределах языкового знака) значимым было противопоставление грамматического значения лексическому как формального содержательному, во втором же (в рамках языковой системы в целом) – такую значимость обретает модельный (процессуальный) характер грамматического в противовес субстанционально-знаковому характеру лексического. Таким образом, в функционально-прагматической методологии любой объект, наделяемый статусом грамматического, должен рассматриваться не как что, а как как, как предписание, руководство к речевому действию, иначе говоря, как модель (в крайнем случае, как элемент модели).

Последний, но не менее значимый, чем предыдущие, аспект понимания грамматического в функциональном прагматизме касается оппозиции язык vs. речь (или, если быть предельно точным, триадической оппозиции язык vs. речевая деятельность vs. речевой поток). Наличие выразительного момента в каждой из перечисленных составляющих языковой деятель-

ности предполагает необходимость выделения, как минимум, трёх видов: 1) языковые грамматические модели и значения; 2) процедуры грамматического оформления речи, а также 3) речевые грамматические формы и значения. Каждый из названных объектов обладает своей онтологической спецификой. Языковые грамматические сущности, как уже указывалось выше, обладают статусом модельно-алгоритмического предписания. Кроме того, это инвариантная, обобщённая и потенциальная информация. Грамматические процедуры (кодирования и декодирования, знакоупотребления и синтаксирования, номинации и предикации) в онтологическом отношении являются поведенческими актами, процессами. Речевые же формы и значения обладают статусом актуального функционального отношения между речевой единицей и соответствующей языковой грамматической моделью.

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ЛИНГВИСТИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

Функционально-прагматическая методология в современном виде в своих гносеологических положениях исходит из трансцендентально-критической теории познания И. Канта и прагматической концепции В. Джемса. Согласно их взглядам, мир дан субъекту только в его непосредственном, но активном восприятии. Реальность зависит в данном понимании от действующего субъекта, поскольку, будучи «вещью в себе», существует в виде явления как «вещь для меня», которое возможно только в опыте при условии его восприятия субъектом в различных формах деятельности (перцептивной, когнитивной, предметно-коммуникативной и т.д.). Как показал И. Кант, структура всего воспринимаемого человеком сводится к двум универсальным для человеческого опыта категориям: пространства и времени, – с которыми связаны все представления человека. Функциональное сочетание мыслительно-волевых категорий и эмоционально-перцептивных категорий, включая категории пространства и времени (определяющие наше непосредственное восприятие), составляют сетку всех возможных актуальных и инвариантных представлений человека, обуславливают всю область его возможного опыта. Такой взгляд приводит к выводу о том, что мир, если и познаваем для человека, то только в тех формах, в каких человек способен его воспринимать и осознавать. В отечественной философской традиции эта точка зрения квалифицировалась как агностицизм. Мы же, напротив, считаем, что в данном случае речь идёт не столько о непознаваемости или познаваемости мира, сколько о характере его деятельности: мир представлен нам в явлениях, т.е. опосредованно, через наши способности, и, следовательно, судить о соответствии или несоответствии этих человеческих способностей миру или мира этим способностям нет никакой, даже теоретической, возможности. Мы можем говорить о соответствии или несоответствии наших фактов (того, что мы считаем фактами в нашем опыте) нашим гипотезам (нашим теориям и от-

дельным суждениям), однако утверждение, что наш опыт (не)изоморфен и (не)адекватен миру, кажется нам слишком смелым.

Вслед за О.В. Лещаком мы утверждаем, что функционально-прагматическая методология рассматривает смысл (знание) в его пространственно-сущностном аспекте (т.е. что есть познание) как смыслопорождение (построение, создание смысла), осуществляемое действующим субъектом [Лещак, 2001: 28, 29]. С точки зрения функционально-прагматической методологии, смысл как объект постижения (и, в частности, научного познания) локализуется в самом субъекте. Это понимание противостоит теориям, утверждающим получение субъектом смысла из (или нахождение его в) объективной действительности, т.е. рассматривающих познание как процесс «добывания» знаний извне при помощи чувств и/или разума и/или интуиции и/или веры. Следствием такого взгляда является отношение функционального прагматизма к истине не как к объекту, а как к результату познавательной деятельности: истина продуцируется индивидом (по меткому высказыванию Джемса, «случается с мнениями») в результате смыслопорождения, а не открывается в ответ на его усилия.

Поскольку основным атрибутом деятельности является её темпоральная соотносённость с существованием субъекта, то возникает вопрос, требующий определения смысла либо как апостериорного (опытного), либо как априорного (доопытного) по происхождению. С точки зрения функционально-прагматической методологии, смысл возникает в процессе опытной деятельности как взаимодействия субъекта с данными восприятия и их упорядочивания. Следовательно, смысл и как результат жизнедеятельности, и как предмет познания является апостериорным, будучи «функцией (отношением) между индивидуальной предметно-мыслительной и коммуникативно-мыслительной деятельностями» [Лещак, 1996: 181].

Итак, мы, вслед за О.В. Лещаком, утверждаем, что функционально-прагматическая методология отстаивает субъективистско-апостериорную (прагматическую) гносеологию, отрицающая понимание смысла как самостоятельного существующего, вызванного к жизни законами природы или врожденного явления. Как справедливо отмечал Л.С. Выготский, «всякое наше восприятие имеет значение: любое бессмысленное мы воспринимаем, приписывая (выд. наше – Ю. С.) ему значение» [Выготский, 1982: 164]. При таком взгляде смысл понимается как функция разных составляющих человеческого опыта: «Новые истины являются как бы равнодействующими новых опытов и старых истин, взятых в их взаимодействии» [Джемс, 1995: 85]. В этой связи функционально-прагматическая методология определяет смысл вообще и значение и истину в частности как ментальный инструмент эффективного достижения желаемых индивидом результатов [Джемс, 1995: 32], необходимым и достаточным признаком которой является «эвристическая ценность» [Вартофский, 1978: 57].

Функционально-прагматическая методология определяет решение вопроса об онто- и филогенезе объекта лингвистического исследования. Филогенез как научное понятие, предполагающее развитие языка (языковой

деятельности) в пределах, превышающих срок жизни отдельного человека на пространстве, значительно превышающем то, которое может занимать отдельный носитель, с точки зрения функционально-прагматической методологии, имеет смысл только при условии его интерпретации как виртуальной совокупности сообщающихся во времени и пространстве онтогенетических процессов. Рассматриваемое в отрыве от онтогенеза, филогенетическое развитие языка (языковой деятельности) становится чистой абстракцией, которая, вероятно, не может быть применена ни к одному из носителей конкретного языка (субъекту языковой деятельности). Такой взгляд на филогенез мы находим и в работах психологистов XIX века, и у младограмматиков, и в неолингвистических теориях скрещивания индивидуальных языковых систем и волнообразного продвижения языковых новообразований от индивида к индивиду, от одного диалекта к другому. Данное понимание филогенеза определяется, в основном, субъективистской составляющей гносеологических позиций функционально-прагматической методологии, в то время как апостериорная составляющая гносеологии играет решающую роль при определении онтогенеза языковой деятельности. Согласно ей язык как специфическая человеческая семиотическая система не является врождённой, а возникает и изменяется в опытном взаимодействии с другими носителями языка. Следовательно, онтогенетическое развитие языка выступает в данном случае как функция, сообщающая между собой элементы филогенетического процесса [Лещак, 1996: 113]. Таким образом, и фило- и онтогенез следует рассматривать как два аспекта изучения языковой деятельности, связанной с передачей intersubjectivного смысла. Как справедливо отмечал А. Сабошук: «Язык является средством общения, средством взаимного обмена мыслями, превращающим их в общественное достояние, в форму общественного сознания. Но в этой своей исконной и основной функции он в лучшем случае может внедрять мысли, уже сформировавшиеся в умах одних людей, в сознание других людей» [Сабошук, 1990: 112]. В связи с определением соотношения онто- и филогенеза уместно будет привести остроумное замечание В. Джемса: «Прагматист скорее, даже, чем кто-либо другой чувствует себя между наковальней всех истин прошлого и молотом фактов окружающего его чувственного мира» [Джемс, 1995: 105].

Наиболее важным для данного вопроса нам представляется определение гносеологических критериев функционально-прагматического способа научного исследования, которые бы позволяли квалифицировать ту или иную грамматическую концепцию в методологическом плане.

Исходя из положения об опытном, но трансцендентальном (дедуктивно-гипотетическом) характере познавательной деятельности, мы считаем функционально-прагматическим такое изучение грамматики, при котором: 1) теория строится «сверху вниз» по принципу иерархической значимости (ценности) положений; 2) каждое положение фальсифицируется корпусом данных и считается положительным только при условии временной (а не принципиальной) неопровержимости; 3) корпус данных мак-

симально охватывает исследуемые явления и собирается путём сплошной (а не избирательной) выборки, но при этом подвергается функциональной квалификации (иерархизации). Функционально-прагматическая грамматическая теория должна в первую очередь быть «работающей». Она должна стремиться не столько описать все возможные и невозможные факты, сколько объяснить все значимые факты в их ценностной иерархии. Выделение моделей, значений, категорий, процессов и форм в грамматической теории должно быть необходимым и значимым. Теория не может строиться на периферийных и факультативных явлениях, но не может и игнорировать их. Каждому выделяемому объекту в теории должно быть отведено место согласно его значимости и роли. Теория не должна выходить за пределы возможного языкового опыта и допускать сверхинтерпретации. Грамматическая нормативность или периферийность описываемого в теории объекта должна определяться не спекулятивными положениями теории и не самим наличием речевого факта, а только и исключительно функциональным соотношением между ними.

Относительно объекта данного исследования применение функционально-прагматической гносеологии означает, что в данной работе отписывается смысл, порождённый самим автором при ознакомлении с лингвистическими работами исследуемого периода и теми исследованиями, данного периода. Мерой истинности настоящего исследования мы считаем: 1) непротиворечивость высказываемых в нём положений и высказываний (а ещё более – аналитическим действиям) учёных исследуемого периода; 2) эвристическую ценность предлагаемого работой взгляда для создания целостной картины функциональной методологии исследуемых грамматических учений и для понимания динамики представлений об объекте языкознания в исследуемый период.

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ЛИНГВИСТИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

Если до этого мы пытались ответить на вопросы, что собой представляет объект лингвистического исследования как таковой (онтологический аспект), а также что он собой представляет как знание, полученное в ходе исследования (гносеологический аспект), то теперь перед нами встаёт методический аспект функционально-прагматической методологии: проблема методов и приёмов лингвистического исследования. Решение данной проблемы, на наш взгляд, подчинено и логически вытекает из первых двух описанных нами. Именно в методике отбора и исследования материала наиболее ярко проявляются онто- и гносеологические установки исследователя (или их отсутствие), т.е. его методологические взгляды.

Методологические проблемы методики лингвистического исследования тесно связаны с гносеологией и (для функционально-прагматической методологии) следуют из её субъективистско-апостериорного понимания познавательной деятельности. Поскольку, согласно функционально-праг-

матической точке зрения, сущностная сторона познания определяется как смыслопорождение, то естественно утверждать, что с этой точки зрения следует применять дедуктивные методы поиска и исследования фактов. Такие дедуктивные методы следует отличать от дедукции как операционального логического приёма выведения категориального утверждения из частного факта. Напротив, функционально-прагматический методический дедуктивизм опирается на онтологическое отношение инварианта к факту как общего к частному. В методическом плане мы понимаем дедукцию как «переход в познании от общего к частному, выведение частного и единичного из общего» [Горский, 1989: 149]. Соответственно, мы считаем, что методическая дедукция заключается в выдвижении в научном исследовании инвариантной гипотезы (эвристический принцип), которая в процессе исследования должна быть соотнесена с фактами (принцип координации) и тем самым подвергнута проверке, предполагающей определение границ и условий её действительности (прагматический принцип) и истинности (принцип фальсификации). Последнее обстоятельство позволяет предложить общеметодический термин, альтернативный одновременно сциентистскому термину «познание» и постмодернистскому термину «языковая игра», которым можно было бы выразить характер общей направленности всех предпринимаемых в функциональном прагматизме методических процедур. Это – лингвистическая или лингвофилософская критика. Критика не стремится к адекватному описанию или познанию сути. Она ограничивается объяснением, допуская при этом возможность альтернативных, более удачных (прагматически значимых) объяснений.

Методический аспект функционально-прагматического исследования полностью подчинён двум предыдущим аспектам: не метод определяет понимание объекта и способ его познания, но онтологическое осмысление объекта и гносеологическая позиция исследователя определяют выбор методов и их характер. Анализ, описание, объяснение, моделирование, функциональная подстановка (субституция), синтез, транспозиция, трансформация и пр. методические приёмы представляют собой совершенно разные инструменты в руках прагматиста и в руках позитивиста или метафизика.

Одним из принципиальных положений функционально-прагматической методики научного исследования является т.н. методический холизм. Он состоит в признании каждого метода пригодным для исследования в случае его прагматического использования. Методический холизм не означает при этом абсолютного равенства всех методов. Значимость метода полностью подчинена потребностям исследования и его объекту.

Функциональность применения того или иного метода состоит также в том, что метод должен учитывать специфику объекта. Виртуальные объекты (языковые грамматические модели и их составляющие) должны исследоваться иными методами, чем процессы речевого грамматического оформления интенции, а также актуальный речевой поток.

Таким образом, функционально-прагматическими мы признаём те лингвистические теории, которые: 1) в плане определения онтологии предмета лингвистики стоят на менталистско-детерминистских позициях ; 2) в плане определения гносеологии научного исследования или вообще теории познания (гносеологии) исповедуют субъективный апостериоризм и критицизм (т.е. прагматизм); 3) базируются на дедуктивных методах поиска материала и построения лингвистической теории и неизбежно относятся к отбору фактов бытования языка.

ДЕДУКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИ РЕЧИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ (РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА К МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ)

Согласно положению о дуализме субстанции и процесса, мы, вслед за О.В. Лещаком, выделяем в языковой деятельности инвариантно-модельную (язык) и процессуально-результативную (речь) сферы. Инвариантно-модельная сфера представляет собой вторичную в генетическом (диахронном) отношении и первичную в функциональном (синхронном) отношении систему парадигматически и синтагматически связанных единиц и инвариантных моделей оформления (восприятия) информации языковыми средствами. В противовес ей процессуально-модельная сфера представляет собой набор результатов речевой деятельности. Если инвариантно-модельная сфера языка не дана нам в непосредственном опыте, то процессуально-результативная является частью непосредственно данного нам опыта и основанием для гипотетического восстановления психических процессов и явлений, связанных с бытованием языка (инвариантно-модельной сферы), без которых она утрачивает всякую информативность. Эти сферы функционально и прагматически связаны между собой.

В каждой сфере языковой деятельности мы выделяем субстанционально-информационную и процессуально-модельную стороны. Применительно к инвариантно-модельной сфере (языку) это: 1) информационная база языка (ИБЯ) как совокупность всех информационных инвариантных единиц (слова, клишированные словосочетания, фразеологизмы, паремии, прецедентные тексты и т.д.) означивания элементов когнитивной картины мира субъекта и 2) внутренняя форма языка (ВФЯ) как набор потенциально-динамичных моделей, правил и навыков использования, преобразования и оформления единиц ИБЯ при речепорождении и речевосприятии. Применительно к процессуально-результативной сфере (речи) результатом такого разделения являются: 1) речемышление как процесс актуального функционирования языка во взаимодействии с мышлением и оформления когнитивного смысла вербальными средствами и 2) речетекст, речевой поток как субстанциональное (синтаксическое, фонетическое и/или графическое) оформление результатов речемышления.

Из сказанного следует взгляд на язык (инвариантно-модельную сферу речевой деятельности) как на ментальную систему навыков, моделей и единиц, результаты функционирования которой в силу опытного и соци-

ального характера аналогичны (но не тождественны) у его носителей, что является предпосылкой для понимания друг друга носителями языка и позволяет определить язык как универсальное intersубъективное средство широко понимаемого общения.

Поскольку в функциональном плане опыт представляет собой целенаправленное достижение определённых поведенческих установок, то в синхронном отношении единичный речевой акт следует рассматривать как вторичный по отношению к языковому инварианту. В онтогенетическом же плане язык и другие знаковые системы мы считаем необходимым рассматривать как результат опытной мыследеятельности индивида, направленной на упорядочивание своего предметно-коммуникативного опыта. Поэтому в диахроническом отношении речевой опыт представляется нам первичным по отношению к психическим инвариантам вообще и к языку в частности.

Приведённые соображения позволяют перейти к изложению методологических оснований изучения языковых грамматических явлений. В данной работе мы принимаем определение грамматики языка как части ВФЯ, выполняющей функцию оформления речемышления и внешнеречевого сигнального потока. Грамматика как система моделей ВФЯ устанавливает актуальное отношение (образует функциональную связь) в процессе своего функционирования в языковой деятельности между грамматической информацией как элементом единицы ИБЯ и экспликаторм такой единицы в конкретном грамматическом оформлении. Таким образом, грамматика представляется нам в виде системы грамматических моделей, позволяющих применять инвариантные единицы ИБЯ применительно к актуальным потребностям языковой деятельности.

Грамматическая модель понимается нами как алгоритм, предписание оформления и построения речи и включает в себя установки, определяющие: 1) грамматические правила (правила формально-речевого поведения), 2) грамматическую информацию (формальную семантику), 3) экспликатory грамматической информации (грамматический инструментарий). Из сказанного нетрудно сделать вывод о том, что модель мы понимаем как аналог языковой единицы, взятой со стороны её структуры, в отвлечении от конкретного лексического наполнения и содержания. Грамматические модели вступают в двусторонние отношения (образуют функции), с одной стороны, с единицами информационной базы языка (ономасиологическими категориями, лексическими классами знаков и отдельными знаками) и опосредованно через неё с когнитивной картиной мира, с другой стороны – с номинативными моделями знакообразования и знакоупотребления (словообразовательными классами, лексическими и словопроизводственными моделями и т.д.), с третьей стороны – с фонематическими моделями (и/или моделями графического оформления) и с четвёртой стороны – с актуальным когитативным (мыслительным) континуумом и опосредованно через него с операциональной картиной мира.

Грамматическое значение номинативной единицы ИБЯ мы представляем как отношение между лексическим значением и грамматическими моделями информационной базы языка, которое может быть как простой (двусторонней), так и сложной (многосторонней) информацией. Парадигма грамматических значений порождает грамматическую категорию.

Грамматические модели мы разделяем на семантические грамматические модели (позволяющие означивать инвариантное грамматическое значение единицы ИБЯ в его отношении к актуальному когнитивному состоянию субъекта и имеющие своим результатом актуальные грамматические значения) и на формальные грамматические модели (позволяющие означить грамматические семантические явления речевой деятельности инвариантными речевыми средствами экспликации грамматических значений и создающие условия для их дальнейшей экспликации, например, фонации).

Экспликатор (знак) грамматического значения не имеет априорно определённого семантического объёма и спекулятивно определённых неизменных формальных признаков. Разницу между морфемой и словом мы видим не в «самостоятельности», а в означивании определённого типа языковых значений. Так, самостоятельное слово, на наш взгляд, должно означивать единицу ИБЯ, находящуюся в функциональных отношениях с определённым элементом когнитивной картины мира, в то время как слово-морфема (предлог, связка и т.д.) означает актуальное грамматическое значение той единицы, с которой оно сочетается, т.е. оформителя актуальных речемыслительных процессов, о чём слушающий судит по соотносённости данной единицы речевого потока не с картинномирной составляющей ИБЯ, а с грамматической моделью.

Мы рассмотрели возможность реализации в речи грамматической модели в виде «отдельного слова». Альтернативой этому является возникновение морфем, эксплицирующих более одного грамматического значения, что для любого, кто знаком с флективными языками вообще и со славянскими в частности (за редким исключением, например, болгарского), очевидно и доказательств не требует. Морфема, как нам представляется, единица принципиально иного порядка, чем слово, и должна рассматриваться не на уровне слова как субстанционального знака ИБЯ, а на уровне алгоритмов речевого поведения, каковыми являются грамматические (в первую очередь, морфологические) и деривативные модели внутренней формы языка.

Часть речи представляет собой не совокупность знаков-единиц информационной базы языка (как её обычно представляют в грамматической традиции), а наиболее глобальную категориальную модель внутренней формы языка, непосредственно (или опосредованно) соотносимую, с одной стороны, с ономаσιологическими категориями его информационной базы, а с другой, с операциональной картиной мира, что обеспечивает совмещение в речевой семантике одновременно элементов семантики лексических знаков (входящих в ономаσιологические категории ИБЯ) и актуальной семантики речемышления. В этом смысле функционально-прагматическое

понимание части речи весьма близко трактовке понятийных категорий в теориях О. Эсперсена и его последователей (в современном отечественном языкознании это, прежде всего, А.В. Бондарко). Ономасиологические категории понимаются нами как наиболее общие категории человеческой языковой картины мира, определяемые возможным опытом, под которые подводятся все явления, данные субъекту в его вербальном опыте. В развитие взглядов автора идеи ономасиологических категорий Милоша Докулила [Dokulil, 1962] мы выделяем пять ономасиологических категорий: субстанции, неизменяющегося признака субстанции (атрибута), изменяющегося признака субстанции (процесса и процессуального состояния), признака признака (обстоятельства и условия реализации признака), а также (в дополнение к классическим докулиловским) волюнтаривно-эмотивную ономасиологическую категорию (единицы, сигнализирующие об эмоциональных состояниях и волеизъявлениях субъекта). Ономасиологические категории, с одной стороны, и операциональные модели мышления, с другой – обуславливают грамматическую стратификацию номинативных единиц языка (знаков) и реализуются во внутренней форме языка в форме частей речи. Части речи – это гипермодели внутренней формы языка, обслуживающие речемыслительные операции с элементами ономасиологических категорий как единицами ИБЯ и элементами актуальной когитации (мышления). В речевом синтаксическом потоке части речи как модели реализуются в виде грамматического оформления словоформ. В этом смысле словоформа становится одновременно речевым знаком лексической единицы, определённой морфологической модели ВФЯ и определённого когитативного состояния субъекта. В рамках части речи как гипермодели в ВФЯ выделяются субмодели грамматического оформления номинативных единиц, которые эксплицируются специфическими по отношению к частям речи наборами актуальных грамматических значений и форм. Аналогично в функциональном прагматизме должны трактоваться и другие явления, например, грамматические категории, грамматические значения, грамматические формы: всё это того или иного рода формальные функции, возникающие при образовании взаимозависимостей между частью речи, ономасиологическим классом (того или иного уровня), синтаксической позицией и той или иной морфонематической структурой.

Таким образом, часть речи с точки зрения функционального прагматизма представляет собой отношение ономасиологической категории как составной ИБЯ, с одной стороны, к словоформе как элементу синтаксического речевого потока и, с другой стороны, к члену предложения как синтаксической модели ВФЯ. Часть речи есть наиболее общая грамматическая метамодель знакоупотребления, иерархически и синтагматически организованная совокупность морфологических (словоизменятельных и словоупотребительных) моделей, т.е. моделей образования словоформ.

**ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
В РОССИЙСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX–НАЧАЛА XX ВЕКОВ
(ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)**

Функционально-прагматические воззрения в грамматических теориях отечественных языковедов были представлены уже со второй половины XIX в. При этом теоретические взгляды этих учёных не всегда могли согласовываться между собой. Тем не менее, более глубокий анализ методологических оснований самых различных лингвистических теорий вскрывает их принципиальную методологическую тождественность. Принципом фальсификации данной гипотезы является дедуктивное функционально-прагматическое определение части речи как явления языковой деятельности, которое приводится ниже. Мы считаем, что отнесение той или иной грамматической теории к функционально-прагматической методологии неправомерно, если данное исследование ведёт к принципиально иному пониманию части речи как лингвистического явления. Мы не будем рассматривать работы учёных, которые не занимались вопросами исследования частей речи, поскольку в рамках нашего принципа фальсификации они непроверяемы и на данном этапе не могут быть объектом научного рассмотрения. Исключением являются взгляды И.А. Бодуэна де Куртенэ, функциональный прагматизм взглядов которого не вызывает сомнения (он неоднократно и очень последовательно эксплицировал это в своих работах). Однако, хотя Бодуэн специально и не занимался интересующей нас проблемой, он оказал огромное влияние на грамматистов, в чьих трудах в той или иной степени воплотилось функционально-прагматическое понимание части речи.

Анализ работ отечественных грамматистов показывает, что единственным полноценным и монопольным методологическим направлением в отечественном языкознании XIX в. была метафизика историчистского толка, восходящая своими истоками к взглядам И. Гердера, Ф. Шеллинга и Г.-В.Ф. Гегеля. Она оставалась таковой практически до появления работ А.А. Потебни. Взгляды А.А. Потебни являются первой отечественной лингвистической концепцией, в которой в той или иной мере присутствуют элементы функционально-прагматической методологии. По этой причине появление трудов Потебни является нижней исторической границей нашего описания.

60-е годы XIX в. были отмечены повышением интереса к психологии, в частности, к этнопсихологии (гумбольдтианская школа Г. Штейнталя, М. Лацаруса и В. Вундта), а с другой стороны – к кантианству, что было связано с попытками преодоления объективистского абсолютизма в духе Ф. Шеллинга и Г.-В.Ф. Гегеля. Возврат к Канту осуществлялся на новой, психологической основе с учётом последних достижений философской мысли (историзм и зарождавшийся в рамках позитивизма социологизм). Отсюда функциональный психологизм взглядов Потебни и социальный психо-

логизм концепции И.А. Бодуэна де Куртенэ. В конце XIX в. наметилось смещение интересов учёных от идеализма в сторону большего реализма, вплоть до эмпирического позитивизма (феноменализма). Следствием развития этих тенденций стали младограмматизм и формализм. Они же становятся главенствующими направлениями в отечественной лингвистике. Функциональные взгляды, основа которых была заложена Потебнёй и Бодуэном, оказались на периферии отечественной лингвистической мысли. Эта периферийность была отчасти вызвана экстранаучными факторами: географическими (удалённость от столиц: Харьков, Казань, Дерпт), этнополитическим (проукраинские взгляды представителей Харьковской школы, космополитическая ориентация бодуэновских школ, политическая неблагонадёжность основателей обеих научных школ), издательским (Потебня публиковался преимущественно в Харькове и Варшаве, Бодуэн – за рубежом). К тому же Потебня так и не опубликовал своего итогового труда, а Бодуэн в основном публиковал разрозненные статьи по частным вопросам.

Пришедшие в нач. XX в. на смену позитивизму неогегельянство и феноменология Гуссерля также не способствовали развитию и распространению в России функционализма и прагматизма. Со смертью Потебни взгляды представителей Харьковской школы по тем или иным причинам начали забываться. Центр лингвистического функционализма сместился в Петербург, где Бодуэн создал новую школу (Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский, В.Б. Томашевский и др.), которая в значительной степени способствовала сохранению функционально-прагматической методологии в отечественном языкознании.

Следует отметить, что универсалистская психологическая линия, ведущая от В. Канта через В. Гумбольдта и Г. Штейнтала к Потебне, имела ещё одну ипостась в лице Э. Кассирера, который непосредственно совместил взгляды Канта и Штейнтала. Именно эта линия была в значительной степени развита последователями Н.Я. Марра. Взгляды самого Марра были весьма эклектичны, однако в них содержались ключевые положения функционально-прагматической методологии: нетождественность языка и мышления, инструментальный характер языка, рассмотрение языковой деятельности как главного объекта лингвистики («палеонтология речи»), интерессубъективная трактовка социальной стороны языка. Именно повышенный интерес к исследованию соотношения языка, мышления и общества привёл учеников Марра к изучению и популяризации взглядов Потебни. После возвращения Бодуэна в 1918 г. на родину и после эмиграции Н.С. Трубецкого бодуэновская линия в отечественном языкознании сильно ослабела. Марристы оказались практически единственными представителями функционализма в Советской России. Разногласия идеологического, теоретического и методического характера между марристами и бодуэнистами (в частности Е.Д. Поливановым) не благоприятствовали оформлению функционального прагматизма как самостоятельного методологического направления в языкознании. Единственным связующим звеном между этими двумя ответвлениями функционально-прагматичес-

кой методологии был Л.В. Щерба, активно сотрудничавший в Институте языка и мышления им. Н.Я. Марра и преподававший в 20-е годы минувшего века в Петроградском – Ленинградском университете введение в языкознание.

Под влиянием инспирированной И.В. Сталиным критики марризма принципиально изменились интересы отечественных лингвистов. Многие вопросы, традиционно определявшие основной корпус отечественного языкознания, стали неприемлемыми для советской лингвистики: «Справедливая критика ‘классового характера языка’ и так называемых четырёх элементов Н.Я. Марра, к сожалению, на некоторое время создала у ряда лингвистов убеждение, будто бы следует подальше держаться от общественных функций языка, чтобы не допустить ‘вульгарно-социологических ошибок’. В стороне оказалась на некоторое время проблема языка и мышления. Возникла нелепая теория, согласно которой языки будто бы только изменяются, но не развиваются» [Будагов, 1982: 23]. Как отмечал Б.А. Серебренников, основным недостатком отечественного языкознания 40–50-х было рассмотрение марксистского диалектического метода в качестве «единственно научного» и совершенно независимого от всякой другой методологии, что привело к своего рода методологическому обскурантизму [Серебренников, 1983: 11]. Такая ситуация, на наш взгляд, сохраняется в отечественной лингвистической традиции и до сих пор. Это связано со специфически мифологическим представлением об истории отечественной лингвистики, возникшем после дискуссии 1950 года: «За последние четверть века получило почти всеобщее распространение среди советских языковедов противопоставление ‘современная лингвистика’–‘несовременная лингвистика’. Оказалось неясным: а где же должна располагаться советская наука о языке?» [Будагов, 1982: 19]. С.Д. Кацнельсон в унисон с Р.А. Будаговым прямо связывал такое положение в лингвистике с засильем структурализма в советском языкознании после 1950 года: «Антименталистические тенденции, возобладавшие в новейших лингвистических направлениях 40-х и 50-х годов, на время затормозили семантические исследования. Но в последнее время, когда чётко обозначилась неудача теорий, односторонне ориентированных на внешнюю форму, интерес к содержательной стороне языка, к его ‘глубинным’ структурам снова возрос» [Кацнельсон, 1972: 4]. Той же точки зрения придерживался и В.И. Абаев: «Нормализация языкознания достигла предела в структурализме. Как в истории организмов возникают виды, не способные к дальнейшему развитию, так в истории любой науки могут возникнуть направления, которые ведут в тупик. Таким тупиковым направлением в языкознании является структурализм [как описательная наука – Ю. С.]» [Абаев, 1986: 30]. Оставляя в стороне вопрос о перспективности развития структурной лингвистики, мы должны признать, что под влиянием господства структурализма история отечественного языкознания приняла несколько односторонние формы: «Как это ни странно, история советского языкознания остаётся областью всё ещё очень мало изученной» [Будагов, 1982: 19]. Таким об-

разом, с момента выступления Сталина и разгрома марризма в отечественном языкознании в качестве официальной методологии утверждается диалектический и исторический материализм, который в зависимости от «теоретической моды» применялся к разным теориям или объектам исследования (структурализм, математическая лингвистика, генеративизм, лингвистика текста, ареальная лингвистика, функциональная грамматика и т.д. и т.п.). Такое положение вещей приводило к методологическому нигилизму и эклектизму в трудах отечественных лингвистов и не способствовало развитию отдельных методологических течений и расширению на их базе представлений о природе и способе существования/бытования языка/речи. На этом основании нижней хронологической границей нашего исследования мы избрали 1950 год как момент ликвидации методологического плюрализма (и, следовательно, развития методологической мысли) в отечественном языкознании.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЯМ ФУНКЦИОНАЛЬНО- ПРАГМАТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

Акад. Л.В. Щерба писал, что в дореволюционной России было три выдающихся лингвиста-теоретика: А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ и Ф.Ф. Фортунатов [Щерба, 1963: 89]. Методологические взгляды первых двух из них являются объектом пристального внимания в этой главе. Взгляды Ф.Ф. Фортунатова и его учеников, в т.ч. А.А. Шахматова, мы не рассматриваем, поскольку они основываются преимущественно на позитивизме и реалистической метафизике.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А.А. ПОТЕБНИ

В отечественной и, отчасти, зарубежной лингвистической историографии принято говорить об Александре Афанасьевиче Потебне как об оригинальном и глубоком мыслителе. С. Крымский отмечал, что «Потебня одним из первых в России поставил на почву точного фактографического исследования разработку вопросов истории мышления в его связи с языком» [Крымский, 1967: 327]. Ф.П. Филин отмечал, что Потебня значительно опередил в своих взглядах западноевропейских лингвистов-теоретиков [Филин, 1941: 6]. Иначе оценивает степень новизны взглядов Потебни исследователь его творчества И. Физер. «Хоча теорія Потебні не була ні історично, ні синхронно новаторською на Заході, вона виявилася цілком новою в Російській імперії» – отмечает американский учёный [Физер, 1993: 8]. В этих словах отчётливо просматривается след распространённого мифа о Потебне как гумбольдтианце и психологисте школы Штейнтала.

Как бы там ни было, но до сих пор практически любое исследование творчества Потебни проникнуто пиететом к его взглядам. Несмотря на это, взгляды Потебни не получили должного развития. Как отмечает В.А. Глущенко, «Концепція О.О. Потебні залишилася непоміченою в історичній фонетиці та в лінгвістичній історіографії, не була належно оцінена ні сучасниками О.О. Потебні, ні мовознавцями наступних поколінь» [Глущенко, 1998, II: 16]. Действительно, одно из наиболее крупных и авторитетных исследований лингвистической концепции Потебни рассматривает её всего лишь сквозь призму грамматических идей В.В. Виноградова [Білодід, 1977], которые принадлежат к принципиально иной методологической парадигме. Ещё в 1941 году Ф.П. Филин справедливо отмечал: «Перед советскими лингвистами стоит большая задача – критическое использование наследства Потебни. Потебня плохо изучен, хотя писали о нём немало; ещё меньше использованы его лингвистические достижения» [Филин, 1941: 11]. Можем добавить, что не только лингвистические, но и методологические взгляды Потебни не были в достаточной мере осознаны лингвистами.

Как отмечают многие исследователи, в основу концепции Потебни легли идеи И. Канта, понятые сквозь призму работ В. Гумбольдта и Г. Штейнта-

ля [Филин, 1935; Физер, 1993; Бондарко, 1985; Кацнельсон, 1985, I; Филин, 1941]. Однако, многие историки лингвистики сводят концепцию Потебни к примитивному эклектизму. И. Физер отмечает принципиальную вторичность лингвистической теории Потебни, характеризуя её как «безхитрийний синтез філософії Вільгельма Гумбольдта і психології Геймана Штейнталя» [Физер, 1993: 7]; к такой же оценке тяготеет о. Павел (Флоренский) и Г.Г. Шпет [Флоренский, 1990; Шпет, 1989]. В противовес им: Д. Кацнельсон отстаивал оригинальность лингвистических взглядов Потебни, признавая лишь философское влияние В. Гумбольдта и Г. Штейнталя на взгляды Потебни [Кацнельсон, 1985, I]. Последняя точка зрения, хоть и не общепринята, но всё же распространена в отечественной науке [Березин, 1979; Бондарко, 1985; Супрун, 1971; Филин, 1935; Франчук, 1975; Франчук, 1986; Франчук, Рождественский, 1990]. Большинство историков языкознания обычно ограничиваются лишь указанием на связь взглядов Потебни с психологической школой XIX века, как это сделал И. Физер в приведённой выше цитате. Существует немного работ, посвящённых собственно рассмотрению философских корней взглядов Потебни. Так, например, едва ли не единственная из работ, посвящённых исследованию собственно методологических оснований взглядов А.А. Потебни [Колесов, 1985], останавливается лишь на особенностях сравнительно-исторического метода в трудах Потебни и практически обходит вниманием собственно философско-методологические основания взглядов учёного. Зачастую оценка методологических взглядов Потебни некорректна, поскольку осуществлялась с позиций иных методологических направлений или в запале полемики. Следует отметить статью Ф.П. Филина [Филин, 1935], которая до сих пор остаётся наиболее подробным анализом методологической позиции Потебни и её соотношения с работами его предшественников в области философии, лингвистики и психологии. На наш взгляд, указанное исследование Филина до сих пор не потеряло своей актуальности.

Не ставя под сомнение взглядов исследователей творчества Потебни на происхождение его теорий или на их ценность, мы будем исходить из допущения об относительной оригинальности лингвистических взглядов Потебни и о влиянии на его взгляды Гумбольдта, Штейнталя, Лотце и Ладзаруса. Эта априорная оценка концепции Потебни, с одной стороны, объясняется тем, что взгляды иностранных учёных и их судьба в отечественной лингвистической традиции не являются предметом нашей работы и выходят за хронологические или культурологические рамки объекта исследования. Но, с другой стороны, есть все основания полагать, что лингвофилософские взгляды всех перечисленных представителей т.н. «психологизма» существенно отличаются от взглядов харьковского лингвиста. Однако эта тема требует специальной тщательной проработки. Мы ограничимся указанием на определённую связь взглядов указанных учёных, с одной стороны, и Потебни, с другой, что уже стало трюизмом в историографии отечественного языкознания.

Лингвистическая концепция Потебни представляет собой уникальный случай в отечественной лингвистике того времени, поскольку она вся проникнута философскими убеждениями автора. «Нечего и говорить, насколько важно понять философскую сторону исследований Потебни, ибо без неё нельзя ступить и шагу в рассмотрении того или иного конкретно-языкового вопроса в его работах», – отмечал Ф.П. Филин [Филин, 1935: 125]. Прежде, чем перейти к рассмотрению собственно лингвистических взглядов Потебни, мы остановимся на анализе его общеполитических взглядов (в первую очередь его ранней работы «Мысль и язык» [Потебня, 1993]).

Потебне, особенно в ранний период, было свойственно относительно бесструктурно излагать свои мысли, что затрудняет восприятие мыслей учёного и сыграло, на наш взгляд, злую шутку с его последователями. К тому же Потебня часто был вынужден выражать свои мысли «эзоповым языком» (подробнее об этом см. [Федорова, 1981]). Д.Н. Овсяннико-Куликовский по этому поводу отмечал: «Надо сказать правду, для недостаточно подготовленных сжатость стиля Потебни является весьма огорчительным камнем преткновения. Книги Потебни нельзя ‘просто’ читать, или ‘почитывать’: их приходится ‘разучивать’, ‘штудировать’, – и это дело не из лёгких» [Овсяннико-Куликовский, 1989, II: 484]. Мы попытаемся свести методологические высказывания Потебни по возможности к структурированной форме.

Философия языка А.А. Потебни

Характеризуя онтологию поэтического произведения в концепции Потебни, И. Физер писал: «Потебніанська онтологія поетичного твору міститись між романтичним трансценденталізмом, що його вчений усядикував від своїх німецьких учителів, і психологічним реалізмом, що його набуто завдяки лінгвістичним досвідам. Спрямованість уваги на такі категорії, як дух, уява, безкінечність, інтуїція, і т.д. (тобто явищ, розташованих поза межами вимірюваної дійсності), засвідчує романтичну спрямованість суджень Потебні» [Физер, 1993: 23]. Однако онтологические взгляды Потебни определялись не только и не столько предметом его занятий и особенностями личного научного метода учёного, а, скорее, наоборот, они определили предмет и методику исследований Потебни, в чём нетрудно убедиться, прочитав начало работы «Мысль и язык»: учёный вовсе не был незнаком с иными онтологическими концепциями (которые, кстати, тоже использовали в своем аппарате категории, перечисленные И. Физером), однако, несмотря на это, Потебня остановился именно на трансцендентализме как онтологической концепции. Как справедливо указывает Ф.М. Березин, одной из главных основ онтологических взглядов Потебни стала метафизика И. Канта [Березин, 1979: 124–125]. Это же отмечали и другие исследователи [Амирова, Ольховиков, Рождественский, 1975; Білодід, 1977; Кацнельсон, 1940; Кацнельсон, 1972; Мельничук, 1981; Овсяннико-Куликовский, 1989, II: 484; Филин, 1941; Флоренский, 1990; Шпет 1989]. Сам

Потебня среди редких упоминаний истоков своих философских взглядов дает ссылку на Локка (при объяснении идеи о непознаваемости мира) [Потебня, 1981: 119]. Мы присоединяемся к мнению о кантианских корнях онтологии Потебни, однако заметим, что этот вопрос не ещё получил однозначного решения.

Онтология. Центр взглядов Потебни на онтологию языка составляет проблема природы языка, которую он характеризовал так: «Вопрос об отношении мысли к слову ставит лицом к лицу с другим вопросом: о происхождении языка, и наоборот, попытка уяснить начало человеческой речи, неизбежная при всяком усилии возвыситься над массою частных данных языкознания, предполагает известный взгляд на значение слова для мысли и степень его связи с душевною жизнью вообще» [Потебня, 1993: 7]. Вопрос об отношении мысли к слову для Потебни был равнозначен двум теоретическим вопросам современного нам языкознания, а именно, вопросу об отношении мышления к языку в 1) онтогенезе и 2) филогенезе, которые Потебня в рамках своей теории ещё не разводил. Привязку онтологии к генезису возникновения и формирования языка можно рассматривать как дань историзму и объективизму XIX века. Но обращает на себя внимание интерес Потебни к возникновению и формированию языка не только в фило-, но и в онтогенезе, который сам по себе позволяет квалифицировать взгляды Потебни как весьма близкие менталистским позициям. Однако такое предположение требует определения отношения методологических взглядов Потебни к функционально-прагматической методологической парадигме.

Существенным пунктом онтологии Потебни является утверждение о том, что ментальная картина мира прямо не связана с миром как таковым и относится к нему опосредованно: «[все – Ю. С.] существует для меня настолько и в таком виде, насколько и как оно воспринимается мною» [Потебня, 1905: 125]. Знание о мире является только человеческим способом отражения мира не тождественным самому миру. Находясь на кантианских основаниях в онто- и гносеологии, Потебня считает ложной идею об изоморфности человеческих представлений действительности, видя в ней предрассудок, тормозящий развитие науки: «полагали, что между обобщениями, сделанными человеческой мыслью, которые можно назвать понятиями (о волке, о лисице, собаке и т.п.), в самой действительности нет той связи, которой не было на бумаге, схематически, в мысли» [Потебня 1990: 56]. Потебня рассматривает как реальность только психологические явления, считая их проекцией фактов мира на психологическую реальность, как это справедливо отмечено в «Очерках по истории лингвистики» [Амирова, Ольховиков, Рождественский, 1975: 391]. Факт так называемой «объективности» мира для Потебни уходит из поля зрения многих исследователей Потебни в той мере, в какой он мог бы быть включен в систему научных и философских рассуждений. Рассуждая о соответствии явлений «действительности», Потебня отмечает, что действительность хоть и, безусловно, существует, однако характер и формы этого существования дале-

ко не соответствуют нашему понятию об этой «действительности». Следствием этого является восходящее к Канту [Филин, 1935: 132] утверждение Потебни о непознаваемости мира и любого его элемента во всей его полноте, как «вещи в себе» (о том же [Филин, 1935: 131–133]).

По Потебне, человек видит (чувственно воспринимает) и понимает (квалифицирует и классифицирует) мир не так, как он есть, а так, как сам человек способен это сделать. Такое человеческое видение мира для Потебни тесно связано с языком как со средством познания именно как смыслопорождения, а не как смыслообнаружения. Потебня утверждал, что в слове человек приходит впервые «к сознанию бытия тёмного зерна предмета. При этом следует помнить, что, конечно, такое знание не есть истина, но указывает на существование истины где-то вдали, и что вообще человека характеризует не знание истины, а стремление, любовь к ней, убеждение в её бытии» [Потебня, 1993: 107]. «Что же касается до критерия, до мерки истинности или неистинности, – ещё до работ В. Джемса писал Потебня по поводу вопроса об онтологическом статусе истины, – то ведь истинно то, что согласуется с совокупностью доступных нашему наблюдению данных, т.е. истина существует не в воздухе, а для известного лица (выделение наше – Ю. С.)» [Потебня, 1990: 68]. Истина представляет собой у Потебни не реальное, «висящее в воздухе», явление, а постоянно меняющееся, подтверждаемое практикой ментальное представление, практически значимое убеждение субъекта. Понимание смысла вообще и истины в частности как непознаваемой, недостижимой и ситуативной цели познания, как бесконечного процесса приближения к соответствию «тёмному зерну предмета» подчеркивает родство концепции Потебни с прагматизмом В. Джемса, позволяя рассматривать взгляды этих учёных как реализации одной методологической парадигмы: «Истинные идеи – это те, которые мы можем усвоить себе, подтвердить, подкрепить и проверить. Ложные же идеи – это те, с которыми мы не можем этого проделать» [Джемс, 1995: 100]. Субъективизм в определении истины необходимо связан с представлениями об онтологии смысла, которые сводились у Потебни к представлению о смысле как о явлении, существующем в неразрывной связи с психикой.

Из сказанного видно, что язык как предмет языкознания для Потебни в онтологическом плане представлял собой явление субъективное, существующее в непосредственной зависимости от отдельного индивида как своего носителя. Потебня понимал языковой смысл как субъективно переработанный опыт, ценность которого находится в непосредственной и постоянной связи с её практическим применением. Всё это позволяет пока предварительно охарактеризовать онтологическую позицию Потебни как реляционно-антропоцентрическую, осложнённую некоторыми элементами реализма (описанные выше рефлексy идеи о приоритете социально-исторического развития языка перед субъективным бытованием).

Изложенное видение онтологической позиции Потебни не согласуется с распространёнными в лингвистике представлениями о ней как о реалистической (метафизической). Такая ситуация в значительной степени свя-

зана с тем, что большая часть основного труда Потебни «Мысль и язык» посвящена рассмотрению предложенных В. фон Гумбольдтом антиномий языка. На этом основании онтологические представления Гумбольдта и Потебни часто отождествляют. В основу представления об онтологии языка Потебня положил заимствованную у Гумбольдта идею о языке как о непрерывно изменяющемся объекте. Однако Потебня не останавливается на просто динамическом понимании языка, а рассматривает историческое изменение языка как направленное движение во времени, прогресс, развитие. Такое развитие Потебня видел в связи с взглядом на взаимосвязь языка и мышления. Потебня, следуя за Г. Штейнталем, свёл положения Гумбольдта к серии метафизических антиномий: 1) объективности и субъективности; 2) речи и понимания; 3) свободы и необходимости; 4) индивидуума (у Потебни – «неделимого») и народа, которые и подверг критике. Антиномии Гумбольдта, на наш взгляд, стали отправной точкой для всей теории Потебни, и потому имеет смысл оценивать взгляды Потебни на онтологию и гносеологию языка (но не отождествлять их) в свете антиномий Гумбольдта.

Субъективная природа языка, по Гумбольдту, проявляется в произволе говорящего. Язык для него есть не произведение, а процесс работы духа, которая представляет собой процесс постоянного введения в язык нового мыслительного содержания: «язык есть вечно повторяющееся усилие духа сделать членораздельный звук выражением мысли» (цит. по [Потебня, 1993: 26]). Доказательством субъективности слова по отношению к действительности, им означаемой, Потебня видит принципиальную нетождественность значения слова и понятия: «содержание слова во всяком случае не равняется даже самому бедному понятию о предмете, и тем более неисчерпаемому множеству свойств самого предмета» [Потебня, 1993: 29]. «Слово образуется из субъективного восприятия и есть отпечаток не самого предмета, а его отражения в душе» [Потебня, 1993: 29]. Такая деятельность мысли является вполне субъективным процессом, однако, выраженная в слове, она приобретает объективную форму: «В языке образуется запас слов и система правил, посредством коих он в течение тысячелетий становится самостоятельной силой» [Потебня, 1993: 26]. Язык как инструмент когнитивного творчества, по мысли Гумбольдта, разделявшей Потебней, является способом субъекта соотнести свою мысль с объективной действительностью. Таким образом, можно утверждать, что инструментализм Потебни как проявление методологического менталистского детерминизма (реляционизма) в данном вопросе обусловлен гумбольдтианскими установками. В то же время приведённые нами цитаты позволяют сделать вывод об ономазиологической направленности мысли Потебни: от мышления (ментально-субъективного) к речи (знаково-объективному), в то время как у Гумбольдта язык именно и, прежде всего – орудие мышления и познания, а не орудие общения, каковым он прежде всего признаётся в функционализме. Как видим, в этом пункте Потебню можно рассматривать как довольно оригинального, работавшего в функцио-

нально-прагматическом ключе последователя идей Гумбольдта, но никак не продолжателя.

В тесной связи с антиномией объективности и субъективности находится антиномия речи и понимания, которая является, на наш взгляд, частным, хоть и чрезвычайно важным, случаем первой антиномии. Суть её заключается в том, что слово, по Гумбольдту, представляет собой, как мы уже говорили, соединение субъективного содержания и объективной формы, которая при восприятии речи ассоциируется с субъективным содержанием уже другого человека (понимающего) [Потебня, 1993: 28–29]. Мысль перестаёт быть исключительной принадлежностью одного лица и становится до некоторой степени достоянием его собеседника. Следовательно, полное взаимопонимание индивидуумов, согласно этой антиномии, невозможно: «Размен речи и понимания не есть передача данного содержания (с рук на руки): в понимающем, как и в говорящем, это содержание должно развиваться из собственной внутренней силы» [Потебня, 1993: 28]. Возникает противоречие между возможностью и невозможностью передать мысль: «со стороны противоположности речи и понимания язык является посредником между людьми и содействует достижению истины в чисто субъективном кругу человеческой мысли» [Потебня, 1993: 28]. Понимание слова для Гумбольдта и Потебни есть способ восприятия чужой субъективной мысли: «сравнение личной мысли с общей, принадлежащей всем, возможное только посредством речи и понимания, есть лучшее средство достижения объективности мысли, т.е. истины» [Потебня, 1993: 28]. Язык для слушающего вводит в область объективных фактов мысль его собеседника. Для Гумбольдта и Потебни «язык, это средство не столько выражать уже готовую истину, сколько – открывать прежде неизвестную, по отношению к познающему лицу, есть нечто объективное, по отношению к познаваемому миру – субъективное» (цит. по [Потебня, 1993: 28]). Язык становится познавательным инструментом субъекта. Таким образом, антиномия объективности и субъективности языка заключается в соединении в языке субъективного мыслительного содержания и означивания ими объективных феноменов с помощью объективного, общего и говорящему и слушающему означающего (звуковой формы). Из этого Потебня определяет язык как средство означивания субъективных представлений об объективной действительности объективными (звуковыми) средствами. Язык становится средством соотнесения мысли с действительностью, «вообще служит посредником между лицом и миром» [Потебня, 1993: 29].

Соединение в языке субъективного (мыслительного, «духовного» в терминологии Потебни) и объективного, формального, внешнего по отношению к субъекту поставило перед Потебнёй вопрос об их соотношении. Потебня в этой связи предлагает отказаться от метафизического понимания термина «дух» у Гумбольдта, заменив его значением «сознательной умственной деятельности» [Потебня, 1993: 36–37]. Дух языка как умственная деятельность, мышление становится для Потебни онтологически нетожд-

дественным языку, но генетически с ним связанным: «В середине человеческого развития мысль может быть связана со словом, но вначале она, по-видимому, ещё не доросла до него, а на высокой степени отвлеченности покидает его, как неудовлетворяющее её требованиям» [Потебня, 1993: 37]. В антиномическом определении тождества субъективного и объективного в языке, данном Гумбольдтом («без языка нет духа, и, наоборот – без духа нет языка» (цит. по [Потебня, 1993: 35])), Потебня видит ошибку: «Самостоятельность языка не возбуждала бы ни малейшего сомнения, если бы не выходила бы за пределы общего закона человеческой деятельности, по которому всякое произведение становится одним из обстоятельств, обуславливающих последующую деятельность самого производителя» [Потебня, 1993: 35]. Тяготее здесь к деятельности и синхроническому подходу, Потебня не ограничивается утверждением о вторичности языка по отношению к духу. Язык становится напрямую детерминированным психической деятельностью человека, чему, вслед за Гумбольдтом, Потебня видит подтверждения в субъективном бытовании языка. Более того, учёный рассматривает язык как фактор формирования мышления, в чём предвосхищает идеи Л.С. Выготского (см. [Выготский, 1982]).

Важный аспект соотношения объективного и субъективного в языке Потебня рассматривает при анализе антиномии свободы и необходимости. Основой этой антиномии является противоречие между субъективным характером бытования языка и его объективной общностью различным субъектам, разнесённым в пространстве и времени. Антиномия свободы и необходимости заключается в противоречии между полной свободой языкового творчества индивида и ограниченностью её потребностями во взаимопонимании с другими носителями языка. Даже относительно свободное языковое творчество индивида подчинено правилам и законам языка. В этой связи возникает вопрос о соотношении в языке индивидуального и народного: «Говорят только отдельные лица, и с этой стороны язык есть создание неделимых; но язык как деятельность этих последних предполагает только творчество предшествующих поколений, в каждую настоящую минуту он принадлежит двоим: говорящему и понимающему, причём и говорящий и понимающий представители всего народа» [Потебня, 1993. с. 31]. Совмещение в языке индивидуального и народного связано с понятием духа народа, которое Гумбольдт представлял себе как объективный феномен. Потебня, напротив, приходит к противоположным выводам: «В утверждении, что язык есть создание народов, которые следует представлять себе духовными единицами, есть два члена, взаимное отношение которых должно быть определено» [Потебня, 1993: 32]. Язык для Потебни не сверхчеловеческое явление, существующее вне отдельного его носителя, а является «хотя и народным, но всё же человеческим произведением» [Потебня, 1993: 32]. Представление о языке как народном произведении, по Потебне, требует рассмотрения народа как единого целого, которое имеет основание в мысли, но никак не в опыте [Потебня, 1993. с. 34]. Потебня чётко представлял себе спекулятивность понятия «народ», однако посчи-

тал необходимым оставить его в своей теории, поскольку это понятие позволяет соотносить языки отдельных субъектов. Как видим, в этом вопросе Потебня тяготеет к менталистскому взгляду на объект исследования, что, в известной степени, опровергает приведённые выше утверждения о философском реализме Потебни и позволяет предположить, что в основе такой оценки лежат факторы внешние по отношению к науке.

Сказанное позволяет утверждать, что Потебня понимал язык как интерсубъективное явление. Такое понимание у Потебни, кроме рассмотрения антиномий Гумбольдта, проявилось и в критике теории сознательно-намеренного происхождения языка, которая, кроме прочего, основывалась на том, что изобретённый язык его автору необходимо ещё и предать другим людям. Ввиду этого, интересубъективность, общность языка как минимум несколькими людям для Потебни становится онтологической чертой языка, которая тесно связана с функцией языка как средства общения: «Так, например, язык нужен для общества, для согласного течения его дел, но он предполагает уже договор, следовательно, общество и согласие» [Потебня, 1993: 10–11].

Итак, на основании сказанного мы утверждаем, что онтологические взгляды Потебни в области лингвистики практически полностью укладываются в рамки антропоцентрической реляционистической онтологии как одной из составляющих функционально-прагматической методологии. Данное утверждение может быть основанием для отнесения взглядов Потебни к функционально-прагматической методологической парадигме при условии наличия в его гносеологических взглядах функционально-прагматических установок.

Гносеология. Сущность гносеологии Потебни чётко и остро сформулировал Г.Г. Шпет: «Головы, в которых отверстие для проникновения идей забито прочною втулкою, воображают, что они ‘в самих себе’ ‘образуют’ представления, которые будто бы и составляют содержание понимаемого» [Шпет, 1989: 422]. Оставляя в стороне полемический запал философа, мы соглашаемся с этими словами, считая, что именно к такому типу принадлежало человечество в сознании Потебни. Но если Шпет характеризовал познание, осуществляемое с помощью языка, мы прежде должны рассмотреть взгляды Потебни на внеязыковое познание.

Процессы познания. Поскольку для Потебни мир сам по себе непознаваем и познание возможно на основании лишь чувственно воспринимаемых нами свойств мира, то закономерно, что основной единицей познания для Потебни является именно образ, как это показал Ф.П. Филин [Филин, 1935: 143–145]. Образы представляют, по Потебне, материал познания, который постоянно апперципируется. Понятие апперцепции, которое Потебня определяет как «участие известных масс представлений в образовании новых мыслей» [Потебня, 1993: 82] лежит в центре его гносеологических взглядов. Как пример апперцепции Потебня приводит описание «самонаучения» ребёнка пониманию того, что болит именно рука, когда болит рука. Для этого необходимы две вещи: 1) представление о руке

и 2) наличие ощущения боли в руке. «Непременно нужно, чтобы ощущение боли, имеющее определённое место, независимо от нашего сознания об этом, изменялось от прикосновения к больному месту [...] Таким образом, знать, что болит рука, значит, признавать свой член, в котором боль, за один и тот же с тем, который доставляет такие-то впечатления зрения и осязания. Ощущение боли здесь узнаётся снова и проверяется, дополняется, объясняется, одним словом – апперципируется ощущениями осязания и зрения» [Потебня, 1993: 82]. Для Потебни апперцепция как средство образования новых представлений является соотносением между собой старых и установлением между ними отношения. Понятие апперцепции изоморфно определению функции как отношения. Отношение (функция), устанавливаемое в результате такого процесса, и является новым представлением. «Апперцепция не всегда может быть названа изменением объясняемого; но если это последнее имеет место, то не должно считаться существенным признаком апперцепции» [Потебня, 1993. с. 82]. Как видим, для Потебни апперцепция представляет собой процесс порождения знаний (понятий) на основании прежде полученных чувственных впечатлений (такой трансценденталистский (функционалистский) взгляд на процесс познания у Потебни, по нашему мнению, вызван идеями И. Канта и В. Гумбольдта). Соответственно, новые мысли возникают не из восприятий, а из имеющихся знаний индивида (как предпосылки возникновения нового знания) на основании новых восприятий: «Чем более я подготовлен к чтению известной книги, к слушанию известной речи, чем сильнее стало быть апперцепирующие ряды, тем легче произойдет понимание и усвоение, тем быстрее совершится апперцепция» [Потебня, 1993: 83].

Все знания человека представляются Потебне продуктами апперцепции и должны в этой связи рассматриваться как таковые: «Самые простые и самые несомненные для нас истины, которые, по-видимому, прямо даются чувствами, на деле могут быть следствием сложного процесса апперцепции. Апперцепируемое может быть не совокупностью признаков [...], а простейшим чувственным восприятием, или одновременно данным, почти неразделимым рядом таких восприятий» [Потебня, 1993: 81]. Продуктом апперцепции для Потебни является представление, которое, будучи включено в причинно-следственный ряд мышления, только в нём реализуется и существует: «Представление есть известное содержание нашей мысли, но оно имеет значение не само по себе, а только как форма, в какой чувственный образ входит в сознание; оно – только указание на этот образ и вне связи с ним, т.е. вне суждения, не имеет смысла» [Потебня, 1993: 101]. Итак, по мысли Потебни, содержанием мышления являются даже не наши восприятия, а то важнейшее, что мы выделили в них, запомнили, соотносили со своим представлением, то, что Потебня называет словом «суждение», а мы можем соотносить с функционально-прагматистским понятием функции. Следует отметить, что приведённые цитаты лишней раз оттеняют апостериористские основания гносеологических взглядов Потебни, взаимодействующие с реляционистскими онтологическими взглядами.

На основании квалификации суждений как продукта апперцепции Потебня выдвигает свое понимание соотношения аналитизма и синтетизма в человеческих суждениях, несколько отходя от кантовской позиции в данном вопросе. Согласно Потебне, каждое базирующееся на восприятии суждение можно разложить на составляющие, а само суждение представить как результат апперцепции. «Всякое суждение есть акт апперцепции, толкования, познания, так что совокупность суждений, на которые разложился чувственный образ, можем назвать аналитическим познанием образа. Такая совокупность есть понятие» [Потебня, 1993: 112]. Соответственно, любое представление, любое понятие как результат апперцепции представляет собой и в генетическом и в актуальном плане продукт синтетического суждения и всегда может быть к нему сведено [Потебня, 1993. с. 109–110]. «С точки зрения языка нужно прибавить, что такое разложение чувственного образа (разложение на элементы как синтетического – Ю. С.) может осуществиться только посредством соединения его с другой подобной единицей, так что в суждении, насколько оно выражено сочетанием не менее двух слов, можно видеть не только разложение единицы, но и появление единства из двойственности» [Потебня, 1993: 109].

Как видим, теория познания Потебни вся подчинена ментализму как онтологической установке в исследовании языка и является, на наш взгляд, следствием антропоцентрической онтологической установки ученого. Взгляд на познание как на постоянный процесс приведения знаний в соответствие данным опыта исключает предположение об априоризме как характеристике гносеологии Потебни и, напротив, позволяет говорить о гносеологическом апостериоризме Потебни.

К сожалению, нам неизвестны высказывания Потебни, которые бы дали возможность однозначно установить его взгляд на знание как на продукт пассивной (индуктивной)/активной (дедуктивной) познавательной деятельности индивида. Такая неопределённость позволяет предположить, что Потебне были бы не чужды как функционалистские, так и позитивистские представления в гносеологии. Однако, учитывая антропоцентрические реляционистские онтологические представления Потебни, мы предполагаем, что Потебня должен был тяготеть всё же к апостериорному дедуктивизму в гносеологии. В любом случае, взгляд на познание как на постоянный процесс приведения знаний субъекта в соответствие опыту исключает предположение об априоризме гносеологии Потебни и, напротив, заставляет говорить о гносеологическом апостериоризме Потебни.

Философия языка А.А. Потебни. Понятие для Потебни существует в неразрывной связи со словом как средством обозначения. Такая связь является для Потебни не тождеством, а результатом специфически человеческого способа познания, которое накладывает на представления свой отпечаток: «Слово – есть средство образования понятия, и притом не внешнее, не такое, каковы изобретённые человеком средства писать, рубить дрова и проч., а внушенное самой природой человека и незаменимое; характеризующая понятие ясность (раздельность признаков), отношение

субстанции к атрибуту, необходимость в их соединении, стремление понятия занять место в системе – всё это первоначально достигается в слове и преобразуется им так, как рука преобразует всевозможные машины. С этой стороны слово сходно с понятием, но здесь же видно и различие того и другого» [Потебня, 1993: 116]. Определение отношения слова к понятию заставляет нас перейти к рассмотрению места языка в системе взглядов Потебни.

Потебня писал: «Слово, взятое в целом как совокупность внутренней формы и звука, есть, прежде всего, средство понимать говорящего, апперцепировать содержание его мысли. Членораздельный звук, издаваемый говорящим, воспринимается слушающим, пробуждает в нём воспоминание о его собственных таких же звуках, а это воспоминание посредством внутренней формы вызывает мысль о самом предмете» [Потебня, 1993: 93]. Язык для Потебни представлял собой инструмент, позволяющий до некоторой степени преодолеть принципиальную непознаваемость мира: «На деле язык – больше, чем внешнее орудие, и его значение для познания и дела более сходно со значением для ч[елове]ка органа, как глаз или ухо» [Потебня, 1962: 60] (о том же см. [Потебня, 1981: 137]). Всё это требует признания философских представлений Потебни субъективистскими, как это сделал Ф.П. Филин [Филин, 1941: 11]. Такой субъективизм Потебни мы никак не можем признать позитивистским, поскольку он опирается у Потебни на функциональные представления о познавательных процессах как апостериорных и на детерминистские (реляционистские) и интерсубъективистские (антропоцентристские) взгляды на онтологию языка. Рассмотрение же языка как «органа» мысли у Потебни мы расцениваем лишь как применение чрезвычайно распространённой в науке того времени метафоры, не отражавшей методологические взгляды учёного.

Мы говорили, что концепция Потебни находится в тесной связи с онтологическими и гносеологическими взглядами Гумбольдта. Последний утверждал, что язык есть не произведение, а процесс работы духа, которая представляет собой процесс постоянного введения в язык нового мыслительного содержания: «язык есть вечно повторяющееся усилие духа сделать членораздельный звук выражением мысли» (цит. по [Потебня, 1993: 26]). Доказательством субъективности слова по отношению к действительности, им означаемой, Потебня видит принципиальную нетождественность значения слова и понятия: «содержание слова, во всяком случае, не равняется даже самому бедному понятию о предмете, и тем более не исчерпываемому множеству свойств самого предмета» [Потебня, 1993: 29], – и далее: «Слово образуется из субъективного восприятия и есть отпечаток не самого предмета, а его отражения в душе» [Потебня, 1993: 29]. Если первая цитата лишь подчёркивает разницу между значением слова и понятием, то вторая – описывает соотношение между ними в концепции Потебни: планом содержания слова выступает не феномен, а результат восприятия и познания феномена (который не обязательно является понятием в собственном научном значении этого слова, а, чаще, обыден-

ным понятием). Потебня вслед за Гумбольдтом противопоставляет слово как отпечаток отражения объекту познания и продукту процесса познания. Если учесть сомнения Потебни в возможности говорить о познаваемости мира, то становится понятным, что слово является действительным средством познания лишь в той степени, в какой всё человеческое познание представляет какую-то действительность. Итак, слово у Потебни выступает как знак по отношению к понятию, являющемуся, в свою очередь, знаком феномена как детерминированного человеческой способностью познания отражения реальности. Язык как инструмент познания (оформления опыта), по мысли Потебни, является способом субъекта соотнести свою мысль с действительностью человеческого опыта, основным элементом которой для Потебни выступает не феномен как физический предмет, а индивид как единственно значимый для человека объект познания. Данное положение оттеняет разницу между методологией Потебни и позитивистской или метафизической методологией.

Важным моментом для понимания гносеологических взглядов Потебни является рассмотрение им антиномии речи и понимания, выдвинутой Гумбольдтом. Суть её в том, что слово является соединением субъективного содержания и объективной формы, которая при восприятии речи ассоциируется с субъективным содержанием уже другого человека (понимающего) [Потебня, 1993: 28–29]. Мысль перестаёт быть исключительной принадлежностью одного лица и становится до некоторой степени достоянием его собеседника. Однако полное понимание невозможно, поскольку слово как средство передачи мысли имеет своей общей частью у двух и более субъектов только внешнюю, фонетическую форму, внутренняя же форма слова, его значение, будучи «отпечатком отражения в душе», является полностью субъективной, позволяя только восстановить, сопорodить мысль говорящего: «Размен речи и понимания не есть передача данного содержания (с рук на руки): в понимающем, как и в говорящем, это содержание должно развиться из собственной внутренней силы» [Потебня, 1993: 28]. Противоречие между возможностью и невозможностью передать мысль сводится к пониманию языка как средства попытаться преодолеть тотальную субъективность психики и соотнести её содержание с высказываниями других людей, которые объективированы с помощью слова: «со стороны противоположности речи и понимания язык является посредником между людьми и содействует достижению истины в чисто субъективном кругу человеческой мысли» [Потебня, 1993: 28]. Понимание слова для Гумбольдта и Потебни есть способ восприятия чужой субъективной мысли: «сравнение личной мысли с общей, принадлежащей всем, возможное только посредством речи и понимания, есть лучшее средство достижения объективности мысли, т.е. истины» [Потебня, 1993: 28]. Заметим, что и истина рассматривается Потебнёй как онтологически ни субъективное, ни объективное, а интерсубъективное явление. Язык вводит выраженную собеседником мысль в область явлений. Для Потебни «язык, это средство не столько выражать уже готовую истину, сколько – откры-

вать прежде неизвестную, по отношению к познающему лицу, есть нечто объективное, по отношению к познаваемому миру – субъективное» (цит. по [Потебня, 1993: 28]). При таком понимании язык является познавательным инструментом. Провозглашенная Гумбольдтом (вернее, заимствованная им у Канта), антиномия объективности и субъективности языка сводится Потебней к соединению в языке субъективного мыслительного содержания и означивания им феноменов с помощью общего говорящему и слушающему означающего (в терминах Потебни – объективного) – звуковой формы. Язык в таком случае становится средством соотнести мышление с действительностью, «язык вообще служит посредником между лицом и миром» [Потебня, 1993: 29]. Соединение в языке субъективного, семантического и объективного, формального поставило перед Потебней вопрос об их онтологическом соотношении. Потебня не ограничивается утверждением о вторичности языка по отношению к духу (психике в современной терминологии), считая его напрямую обусловленным психической деятельностью, но рассматривает язык как мощнейший исторический фактор формирования мышления. Этот взгляд может быть неверно истолкован как попытка рассматривать язык в качестве отдельного виртуального мира (напомним, что идея «третьего мира» является одним из базовых элементов метафизических методологий). Однако такая интерпретация взглядов Потебни была бы несправедливой, поскольку она диссонирует с взглядами учёного на онтологию языка, приписывая его взглядам элементы реализма в представлении о языковой семантике как инструменте познания. Хотя, как мы уже говорили, нельзя сказать, что гносеологические взгляды Потебни слишком согласованы с его чётко выраженными функционально-прагматическими онтологическими представлениями.

Как мы уже отмечали, Потебня отрицает познание действительности как таковой, в качестве «вещи в себе», и лишь язык у него, до определённой степени, является инструментом превращения наших смутных впечатлений о мире «вещей в себе» в мир «вещей для нас»: «Умственная жизнь человека, до появления в нём сознания, нам так же темна, как и душевная жизнь животного, и потому мы всегда принуждены будем ограничиться только догадками о несомненно существующих родовых различиях между первоначальными обнаружениями этой жизни в человеке и животном» [Потебня, 1993. с. 105]. Только владение языком позволяет, по Потебне, судить о внутреннем мире человека. Таким образом, язык у Потебни выступает в качестве специфически человеческого инструмента познания, имеющего свой специфический объект применения – человека: «Человек невольно и бессознательно создаёт себе орудия понимания, именно членораздельный звук и его внутреннюю форму, на первый взгляд непостижимо простые сравнительно с важностью того, что посредством них достигается» [Потебня, 1993: 95]. Однако язык как инструмент понимания представляет собой для Потебни средство квазипознания, позволяющее познавать не объективную действительность, а лишь судить о тех своих впечатлениях, осознать которые без языка человек не в состоянии: «слово

есть настолько средство понимать другого, насколько оно средство понимать самого себя. Оно потому служит посредником между людьми и устанавливает между ними разумную связь, что в отдельном лице назначено посредствовать между новым восприятием [...] и находящимся вне сознания запасом мыслей» [Потебня, 1993: 97]. Сравним это высказывание Потебни с аналогичной мыслью Канта: «[...] внутреннее чувство представляет сознанию даже и нас самих только так, как мы себе являемся, а не как мы существуем сами по себе, потому что мы созерцаем себя лишь так, как мы внутренне подвергаемся воздействию» [Кант, 1964: 205]. В основе познания с помощью языка Потебня видит аналогию, которую слушающий проводит между собою и говорящим: «Понимание другого произойдет от понимания опытности себя» [Потебня, 1993: 96]. Таким образом, человек может узнать о мире с помощью языка, узнав в другом себя и по аналогии воссоздав мысли собеседника о мире на основании его слов.

Объектом смыслопорождения, которое социально оформляется при помощи языка, у Потебни является не только достояние личного опыта человека, но и все впечатления, уже переработанные мыслью человечества и содержащиеся в опыте собеседника: «В слове человек находит новый для себя мир, не внешний и чуждый его душе, а уже переработанный и ассимилированный душой другого» [Потебня, 1993: 95]. Язык представляет собой специфический инструмент, пригодный, по преимуществу, для понимания человека человеком, но не способный заменить нам другие средства познания, дающие нам информацию о мире вещей: «Мы заботливо узнаём у ямщика имя встречной деревушки, хотя что же нам даёт, по-видимому, собственное имя?» [Потебня, 1993: 115]. Вслед за Гумбольдтом, Потебня утверждает, что знание имени собственного даёт нам лишь уверенность в том, «что вещь принята в мир общепринятого и познанного, и, как прочное определение вещи, должна ненарушимо противостоять личному произволу» [Потебня, 1993: 115]. Таким образом, владение языком для Потебни равносильно включению себя в социальную группу, признанию себя членом коллектива, приобщению к опыту коллектива: слово является средством познать не мир, а другого человека, инструментом познания не объективной действительности, а интерсубъективной виртуальной реальности. Рассмотрение языка как интерсубъективного явления является одним из самых важных доводов в пользу утверждения об функционально-прагматической направленности гносеологических взглядов Потебни.

Важной особенностью языка для Потебни является его способность консервировать знания и стимулировать мышление, находящееся в прямой зависимости от коммуникативной деятельности. Изобретение языка, согласно мысли учёного, создало для человечества целый мир, доступный каждому индивиду, феноменами которого являются не вещи, а мысли и восприятия людей, выраженные словами, поскольку, как мы уже отмечали, для Потебни «слово есть настолько средство понимать другого, насколько оно средство понимать самого себя. Оно потому служит посредником между людьми и устанавливает между ними разумную связь, что в

отдельном лице назначено посредствовать между новым восприятием [...] и находящимся вне сознания запасом мыслей» [Потебня, 1993: 97]. Такой «чисто субъективный круг мысли», созданный человеком в общении, стимулирующий их мышление, поддерживается письменностью: «Несомненно, что келейная работа мысли есть явление позднейшее, предполагающее в душе известный запас опытности; она и теперь была бы невозможна без развития письменности, заменяющей беседу» [Потебня, 1993: 95]. Таким образом, у Потебни язык представляет собой инструмент самопознания и, по аналогии с собой, внутреннего мира иного человека, что является одним из ключевых моментов теории Потебни (ср. его высказывание о языке как средстве понимать себя [Потебня, 1993: 102]). Однако такое языковое познание, как это видно из приведённых цитат, для Потебни становится возможным не просто при наличии языка, но при осуществлении языковой коммуникации, что заставляет отметить именно интерактивный, межличностный характер бытования языка в концепции Потебни и позволяет предположить близость между идеями Потебни и концепцией диалогичности культуры М.М. Бахтина (например, [Бахтин, 1975]).

Другой особенностью языка для Потебни является специфический результат познания, осуществленного с его помощью. Языковая способность, будучи, по Потебне, одним из условий возникновения понятия, накладывает на него свой отпечаток, заставляет человека систематизировать и классифицировать составляющие понятия и выделять среди них главное. «С ясностью мысли, характеризующей понятие, связано другое его свойство, именно то, что только понятие (а вместе тем и слово, как необходимое его условие) вносит идею законности, необходимости, порядка в тот мир, которым человек окружает себя и который ему суждено принимать за действительный. Если уже, говоря о человеческой чувственности, мы видели в ней стремление, объективно оценивая восприятия, искать в них самих внутренней законности, строить из них систему, в которой отношения членов столь же необходимы, как и члены сами по себе; то это было только признанием невозможности иначе отличить эту чувственность от чувственности животных» [Потебня, 1993: 113]. Итак, специфической чертой человеческого познания как опирающегося на языковую способность Потебня видит системность, и возникающую вследствие её классификацию феноменов, которая является не онтологической чертой познаваемого, а результатом специфически человеческого способа познания. Такой «вербальный» способ познания вызывает постоянное обобщение материала познаваемого чувствами (в первую очередь, восприятием речи): «Не останавливаясь на таких однородных с упомянутым случаях, как употребление руководящих нашим мнением понятий кацапа, хохла, цыгана, жида, Собакевича, Манилова, мы заметим, что и там, где нет клички, нет ни явленной похвалы, ни порицания, общее служит, однако, законом частному» [Потебня, 1993: 113]. Называя, по Потебне, мы схематизируем наши представления, «Таким законодательным схемам подчиняет человек и все свои действия» [Потебня, 1993: 113–114]. Итак, язык, по Потебне, как спе-

цифически человеческое средство регулирования социального опыта, вносит в наш мир закономерность и системность, накладывающие неизгладимый отпечаток на все содержание нашей психики и на наше представление о мире: «Слово не есть, как следует из предыдущего, внешняя прибавка к готовой уже в человеческой душе идее необходимости. Оно есть вытекающее из глубины человеческой природы средство создавать эту идею потому, что только посредством него происходит разложение мысли. Как в слове впервые человек сознаёт свою мысль, так в нём же, прежде всего, он видит ту законность, которую потом переносит на мир» [Потебня, 1993: 114]. Приведённая цитата наиболее ярко демонстрирует кантианские корни взглядов Потебни (что весьма важно для понимания генетических связей методологии ученого) и, на основании близости трактовки познавательной деятельности, осуществляемой с помощью языка, к Кантовой идее трансцензуса, позволяет квалифицировать гносеологическую концепцию Потебни как в основном функционально-прагматическую.

Потебня далёк от мысли о совершенстве языка как инструмента познания. Мы уже отмечали, что язык для Потебни выступает как инструмент понимания другого человека, а не мира вообще, позволяя устанавливать соответствие восприятия не миру, а восприятиям других людей, что является своего рода пределом применимости языка. Другой особенностью языка как средства смыслопорождения Потебня считал то, что слово и язык создают специфически человеческий круг мысли, войдя в который, мы уже не можем выбраться за его пределы, не потеряв принадлежности к человечеству: «Дробность, дискурсивность мышления, приписываемая языку, создала тот стройный мир, за пределами коего мы, раз вступивши в них, уже не выходим; только забывая это, можно жаловаться, что именно язык мешает нам продолжать творение» [Потебня, 1993: 118]. Однако такие ограничения, накладываемые языком на мышление, для Потебни являются следствием онтологической природы языка, в связи с онтологической природой человека: «Крайняя бедность и ограниченность сознания до слова не подлежит сомнению и говорить о несовершенствах и вреде языка вообще было бы уместно только в таком случае, если бы мы могли принять за достояние человека недостижимую цель его стремлений, божественное совершенство мысли, примиряющее полную наглядность и непосредственность чувственных восприятий с совершенной одновременностью и отличностью мысли» [Потебня, 1993: 118].

На этом основании мы можем так сформулировать гносеологические процессы, происходящие при использовании индивидом языка, в трактовке Потебни: познание представляется не собственно познанием объекта, но процессом конструирования прагматических представлений, отражающих восприятия субъектом объекта, определяемых онтологическими характеристиками, гносеологическими особенностями субъекта и в том числе и языком как одним из основных средств регуляции человеческого опыта.

Философская позиция Потебни не получила однозначной квалификации в отечественной науке. «До сих пор нет единого мнения об общем характере мировоззрения Потебни. По-видимому, ближе всего к истине признание наличия в его взглядах материалистических и идеалистических идей с преобладанием материалистической тенденции» [Иванько, Колодная, 1976: 9]. Та же точка зрения высказана в работах [Жовтобрюх, 1962: 8, 12; Острянин, 1962: 42; Филин, 1941: 11]. Иногда Потебню обвиняют в «субъективном идеализме», противореча своей же квалификации идей Потебни как материалистических [Иванько, Колодная, 1976: 9]. Мы не можем согласиться с такой точкой зрения, поскольку видим в ней неправомерное смешение идеализма и субъективизма, свойственное советскому методологическому жаргону. Мы утверждаем, что, без сомнения, Потебня не отрицал существования материи и не опровергал её первичности (см. выше его высказывания о безусловном существовании материального мира, о значении восприятия для познания мира; о том же [Острянин, 1962: 44]), однако в метафизическом идеализме Потебни мы вынуждены усомниться (ср. его отрицание объективности существования истины и идей). Напротив, оценка онтологического статуса языка у Потебни заставляет говорить о его ментализме. Ещё более странным кажется нам квалификация философской позиции Потебни как субъективного идеализма, сближающая его со взглядами, например, Ф. Ницше. Крупный шаг в данном направлении сделал О.С. Мельничук, охарактеризовавший взгляды Потебни как метафизический материализм [Мельничук, 1981: 11], однако такая точка зрения практически не учитывает онтологического субъективизма (антропоцентризма) учёного. Субъективизм Потебни несомненен и, одновременно с этим, он носит ярко выраженную материалистическую окраску, что, на основании вышеизложенного, позволяет квалифицировать онто- и гносеологические взгляды Потебни как сходные с функционально-прагматическими.

Онтологический статус части речи и его определение в работах А.А. Потебни

По справедливому мнению А.В. Бондарко, одной из основных черт грамматической системы Потебни является то, что он «в эксплицитной форме разграничил языковое и ‘внеязычное’ содержание, обратив особое внимание на вопрос об отношении между тем и другим» [Бондарко, 1985: 95], и «выдвижении на передний план (именно с точки зрения реальности языковых явлений) актов речи, речевой деятельности, которая вместе с тем является мыслительной деятельностью» [Бондарко, 1985: 101]. Действительно, в основе взглядов Потебни лежит идея исследования языка сквозь призму порождения и восприятия речи, то есть с опорой на психологические процессы функционирования языка. Соответственно и в задачи лингвистики, по мнению Потебни, входит не только изучение языковых фактов, но и изучение их функционирования и отношения к мысли людей.

Применительно к проблеме определения частей речи Потебня отрицает возможность определения частей речи через «содержание» (в современной терминологии, через семантический категориальный признак), основываясь на понимании слова и его реализации в предложении как формы мысли [Потебня, 1958: 72]. Различие между частями речи ученый видит в способе оформления семантики слова. Иными словами, постулируется принципиальная тождественность семантической природы различных частей речи друг другу и лексической семантике, её полная независимость от логических категорий. Широко распространённое, тяготеющее к логицизму определение части речи как класса слов, обладающих общей категориальной семантикой, абсолютно неприемлемо для Потебни как предполагающее несколько различных по природе значений в структуре слова. Такое определение, по Потебне, не может учитывать динамику развития языка, которая, как известно, была одним из главных приоритетов концепции Потебни. Учёный переносит вопрос в плоскость онтологии, выступая не столько против логицизма как такового или категориального значения как такового, сколько против объективного логического универсализма, тождественного онтологическому априоризму: «Понимая язык как деятельность, невозможно смотреть на грамматические категории, каковы глагол, существительное, прилагательное, наречие, как на нечто неизменное, раз навсегда выведенное из всегдашних свойств человеческой мысли» [Потебня, 1958: 82].

По поводу не менее распространённого формалистско-позитивистского определения части речи на основании только морфологических признаков Потебня замечал, что никак нельзя определять часть речи через одну из морфем (частей), из которых она состоит, «даже если определение этих частей будет верно, а тем паче, если этим частям, взятым порознь будет приписано то, что появилось лишь в силу их сочетания» [Потебня, 1958: 89]. Такое чисто морфологическое, опирающееся только на формально-структурный критерий, определение части речи, по мысли Потебни, не может учитывать частеречное значение (семантику).

Как видно из обзора онтологических и гносеологических взглядов Потебни, часть речи для учёного, как и любое другое языковое явление, представляет собой специфически человеческое субъективно-смысловое по своему онтологическому статусу явление, что заставляет Потебню выдвинуть при определении части речи на первый план семантический признак как собственно отвечающий субъективно-смысловой природе языка вообще и грамматического значения в частности. Природа возникновения части речи как категории для Потебни находится в тесной связи с природой человеческого познания вообще и с классификацией и систематизацией феноменов как специфическим процессом человеческого познания в частности. Такой, опирающийся на языковую способность, способ познания вызывает постоянное обобщение материала, поставляемого чувствами (в том числе восприятием чужой речи). В этом, по Потебне, лежит предпосылка возникновения в языке части речи как инвариантного язы-

кового комплекса, являющегося способом оформления и экспликации в речи восприятий.

Основой определения частей речи у Потебни является идея об их чисто языковом и, следовательно, для Потебни, субъективном статусе: «Языкознание предполагает, что слово может указывать на такое содержание (понятие как совокупность признаков – Ю. С.), но затем о нём не судит и не нуждается в нём для объяснения явлений языка. Повторяем, что содержание языка состоит лишь из символов внеязычного значения и по отношению к последнему есть лишь форма. Чтобы получить внеязычное содержание, нужно бы отвлечься от всего того, что определяет роль слова в речи [...] Если при этом не всякое различие между частями речи исчезнет, то это будет служить лишь доказательством несовершенства отвлечения, а никак не того, что в содержание предложения входят различия между существительным, прилагательным и глаголом» [Потебня, 1958: 72]. Потебня резко критикует представителей логико-грамматического направления за попытку отождествить язык и внеязыковые явления, в частности, значение слова и понятие. Потебня противопоставляет такому подходу понимание языка как иерархической системы, в которой каждый элемент является формой по отношению к своему значению и содержанием по отношению к своей форме. Из этого логически вытекает представление о части речи как о форме слова, способе его оформления, означающем категориальную отнесённость понятия в картине мира носителя языка и элементе содержания предложения: «для грамматики различия между существительным, глаголом и пр. суть в той же мере содержание, как и различия между падежами, числами, лицами и пр.» [Потебня, 1958: 72]. Часть речи понимается не как класс слов, выражающих понятия, принадлежащие к какой-либо категории, а как чисто языковой класс форм слов, выражающих категориальную отнесённость денотата слова в общей картине мира индивида через грамматические признаки слова, возможные в данном конкретном речевом употреблении (предложении): «Мысль говорящих здесь относит неподвижный элемент данных слов к различным рядам, или, другими словами, к различным категориям, и определяет роль (выделение наше – Ю. С.) этого элемента, его, иначе говоря, функцию (выделение наше – Ю. С.) к той части человеческой мысли, которая связана со словом» [Потебня, 1981: 138]. Такая категория, по Потебне, представляет собой обобщение, созданное индивидом на основании своего опыта (и языкового в том числе).

Исходя из этого, Потебня полемизировал с Буслаевым, утверждая, что слово как форма внеязычного содержания выступает в предложении элементом формы предложения, а не его содержанием: «во всяком предложении должно различать форму и форму, т.е. в предложении, кроме формы, нет ничего, так что, отнявши форму, мы уничтожим предложение флексивных языков» [Потебня, 1958: 72].

Итак, часть речи для Потебни представляет собою форму внеязычного (а не собственно языкового) содержания речи. Части речи в своей реали-

зации в качестве членов предложения выражают специфическое значение, не тождественное лексическому (вещественному) значению слова. Для Потебни, по справедливому высказыванию исследователя, «частины мови повстають як наслідок тривалого історичного процесу утворення і зміни мовних категорій, процесу, що відбивав еволюцію основних категорій людського мислення» [Білодід, 1981: 23]. Итак, части речи представляют собой систему параллельных лексическим значений, характеризующих оценку субъектом денотата слова как категории мышления, способ его языкового представления [Потебня, 1958: 88]. Система таких категорий для Потебни находится в непосредственной связи с теорией познания (гносеологией). Части речи представляют, по Потебне, результат классификации восприятий, выраженный грамматическим значением слова: «Чувственным восприятием не дана вещь, мы не видим вещи, качества, мы видим явление, нечто такое, из которого не выделены ни значение, ни действие, ни качеств вещи. Это выделение производит язык. Это я говорю в объяснение того, что местоименный корень указывает не на вещь, но на явление, указание субъективное» [Потебня, 1981: 152].

Части речи образуют, по Потебне, систему, поскольку само мышление и его продукты для Потебни системны: «С ясностью мысли, характеризующей понятие, связано другое его свойство, именно то, что только понятие (а вместе с тем и слово, как необходимое его условие) вносит идею законности, необходимости, порядка в тот мир, которым человек окружает себя и который ему суждено принимать за действительный. Если уже, говоря о человеческой чувственности, мы видели в ней стремление, объективно оценивая восприятия, искать в них самих внутренней законности, строить из них систему, в которой отношения членов столь же необходимы, как и члены сами по себе; то это было только признанием невозможности иначе отличить эту чувственность от чувственности животных» [Потебня, 1993: 113]. Потебня считает необходимым определять часть речи на основании того значения, которое слово обычно принимает в предложении, его функции, определяемой местом грамматической формы в её отношении к другим членам предложения, выраженным частями речи [Білодід, 1981: 22; Березин, 1981: 19].

Поскольку, с точки зрения Потебни, человеческое мышление и язык как форма его выражения постоянно изменяются, то и система частей речи для Потебни представляет собой продукт такого изменения: «понимая язык как деятельность, невозможно смотреть на грамматические категории, каковы глагол, существительное, прилагательное, наречие, как на нечто неизменное, раз навсегда выведенное из всегдашних свойств человеческой мысли. Напротив, даже в относительно небольшие периоды эти категории заметно изменяются» [Потебня, 1958: 82]. Часть речи представляет для Потебни способ представления значения в предложении (суждении) определённой эпохи и определённого строя мысли [Потебня, 1981].

У Потебни часть речи представляет собой принципиально семантически и формально сходный у различных носителей (интерсубъективный)

знак (совокупность означаемого и значения) наиболее общих мыслительных категорий, конструирующихся сознанием носителя языка из перцептивных элементов комплекса восприятия, означаемого словом. Нетипичное с точки зрения современной лингвистики стремление Потебни к решению генетических вопросов возникновения и развития языка обусловило тот угол зрения, под которым он рассматривал проблему частей речи: данный вопрос решается с точки зрения определения стадий развития мышления, соответствующих определенным грамматическим формам. На наш взгляд, определение части речи как знака типичного комплекса восприятия, данное Потебнёй, иллюстрирует методологическую позицию учёного как собственно функциональную (ср. с определением части речи, данным нами в 1-ой главе этой работы) и не утратило своего значения для современной лингвистики.

Часть речи как семиотическая функция

Выше мы говорили о части речи в концепции Потебни как о выразителе категориальной принадлежности денотата слова в субъективной картине мира носителя языка, выраженной грамматическими средствами. Такая точка зрения может иметь своим следствием представление о части речи как о языковой универсалии, непременно присутствующей в любом языке и находящемся в непосредственной зависимости от особенностей познавательных способностей человека. Действительно, для Потебни, по точному определению Ф.П. Филина, восприятия «систематизируются и оцениваются в самом начале, хотя в первый момент степень обобщения их бывает низка» [Филин, 1935: 143]. Следовательно, часть речи должна была бы рассматриваться как неперменная онтологическая характеристика языка (см., например, [Буслаев, 1858]). Однако этого вывода Потебня не сделал.

Часть речи у Потебни является не онтологической чертой языка, а продуктом процесса возникновения и развития языка. Учёный отмечал, что существуют языки и без частей речи, как мы их находим в индо-европейских языках [Потебня, 1981: 137, 147]. «Мы можем себе представить, что на основании наблюдений над нашим языком такое положение вещей, когда люди говорят понятно, но так, что в их речи нет ни существительного в именительном, звательном или в другом каком-либо косвенном падеже, ни прилагательного, ни глаголов» [Потебня, 1981: 147]. Потебня утверждал, что вполне можно представить себе язык (особенно первобытный), которым не присущи даже такие языковые категории как дейксис и квантитативность, которые предшествовали, согласно Потебне, возникновению собственно частей речи [Потебня, 1981: 147, 148]. То есть, возникновение частей речи для Потебни представляло собой длительный, состоящий из нескольких стадий процесс. Таким образом, часть речи как языковая грамматическая категория для Потебни представляется явлением, присутствующим лишь определённом грамматическом строю языка и на определённой стадии его развития. Основным фактором возникновения и развития

частей речи Потебня вслед за Ф. Боппом считал утрату некоторыми словами лексического значения, выполнение ими чисто грамматической функции в предложении и слияние с номинативными словами. По Потебне, возникновению современного флективного грамматического строя предшествовали и изолирующая и агглютинативная стадии развития грамматического строя языка [Потебня, 1981: 152–159].

Таким образом, часть речи для Потебни представляет собой интерсубъективную релевантную для носителей данного языка определённого грамматического строя классификацию значений слов, выражающую классификацию понятий в картине мира носителей данного языка грамматическими средствами.

Часть речи как грамматическая функция

Важным элементом представления Потебни о частях речи является трактовка грамматического значения. Частеречное, как и всякое грамматическое значение, понимается как неотъемлемая часть значения слова во флективных языках. Оно находится в непосредственной связи с мыслительной картиной мира, с одной стороны, и со всей структурой языка: характеризуя мыслительный статус лексического (вещественного) значения слова, оно характеризует синтаксическую (в том числе актуальную) роль слова в предложении [Потебня, 1958: 35–36]. Таким образом, часть речи является для Потебни сложным комплексом значений и средств их выражения, что заставляет нас обратиться к теории значения Потебни.

Как мы уже отмечали выше, вещественное значение для учёного тесно связано с представлением о языковом явлении как об отношении (функции) означающего и означаемого. Оно представляет собой содержание знака, который, в свою очередь, относится как ближайшее (означающее) к дальнейшему (означаемому). Аналогично, ближайшее значение слова является ближайшим, формальным по отношению к дальнейшему, но относится как дальнейшее к грамматическому значению слова. Грамматическое значение, таким образом, является для Потебни способом оформления значения слова в предложении в процессе речи.

Отрицая объективность существования звуковой оболочки слова самой по себе, Потебня декларирует её существование в речи (предложении) как выразителя комплекса грамматического значения и внутренней формы. Уже участвуя в предложении, слово приобретает определённое грамматическое значение, которое становится очевидным для слушающего из контекста. Такая точка зрения, взятая сама по себе, роднит представления Потебни о грамматическом значении с теориями грамматического значения позитивистского толка. Наиболее наглядным примером такого сходства могут служить представления о грамматическом значении А.М. Пешковского [Пешковский, 1956], которые сочетают в себе элементы теорий Потебни и Ф.Ф. Фортунатова. Но это одна сторона вопроса. Другая же сторона заключается в рассмотрении Потебнёй грамматического значения в связи с его семантическими (мыслительными) основаниями: «Вопрос о взаимо-

отношении формы и содержания Потебня ставит в генетической плоскости: он исследует, какие средства использует язык для выражения новых грамматических значений или, выражаясь языком Потебни, 'как прежде созданное в языке служит основанием новому'» [Кацнельсон, 1940: 72].

Вопрос о грамматическом значении для Потебни сводится к вопросу о значении, выражаемом грамматической формой. Грамматическое значение, по Потебне, может выражаться не морфологически, а, напротив, формальными средствами других грамматических категорий, и лишь позднее эти формальные средства (аффиксы) могут быть переосмыслены носителями языка с учётом нового добавочного значения. Иными словами, грамматическое значение является основанием членения слова на морфемы (аффиксы), а не аффиксы привносятся в слово грамматическое значение. Ярким примером свободного от аффиксального способа выражения грамматического значения Потебня считает оформление грамматической формы синтаксическими средствами. Именно синтаксический способ выражения грамматического значения, по мнению учёного, лежит в основе относительной независимости грамматического значения от звукового выражения. Каждое новое сочетание звука с несвойственным ему до этого значением Потебня рассматривает как новую грамматическую форму: «Необходимо твёрдо знать, что при счёте форм должно стремиться к тому, чтобы считать за единицу действительную форму, а не абстракцию. [...] Всякое особое употребление творительного есть новый падеж, так что, собственно, у нас несколько падежей, обозначаемых именем творительного. [...] Не зная числа падежей в истинном значении этого слова, конечно, нельзя правильно судить о том, уменьшается ли их число, или нет. Для меня несомненно, что новые падежи в вышеуказанном смысле появляются и доньше» [Потебня, 1958: 64]. Опираясь на подобные рассуждения, Потебня резко протестует против чисто формального способа выделения грамматических категорий и связанного с этим объединения в одну категорию форм с различным грамматическим значением: «Здесь истинным пониманием формы является не понимание её в речи, где она имеет каждый раз одно значение [...], а понимание экстракта, сделанного из нескольких различных форм», – и далее, – «Такое отвлечение [...] есть только создание личной мысли и в действительности существовать в языке не может» [Потебня, 1958: 43]. Таким образом, Потебня в принципе отрицает возможность полисемии в грамматике и в языке вообще. Грамматическое значение на этом фоне выступает как значение слова, характеризующее и его номинативный аспект, и его синтаксические свойства в данном употреблении, как «наслоение обобщённых значений на значения лексические», по справедливому замечанию В.Г. Адмони [Адмони, 1988: 23]. «Перенос центра тяжести исследования с грамматической формы на значение приводит Потебню к разработке сложной методики исследования, позволяющей добраться до внутреннего содержания процесса грамматической эволюции. Он ясно даёт себе отчёт в том, что отдельно взятая форма, даже

тогда, когда учитывается её семантика – мало надёжный проводник в вопросах истории» [Кацнельсон, 1940: 71], – отмечал С.Д. Кацнельсон.

Вопрос о грамматическом значении Потебня стремится решать системно, с точки зрения рассмотрения грамматического строя языка: «Ответить на вопрос о значении данной формы или её отсутствии для мысли было бы возможно лишь тогда, когда бы можно связать эту форму с остальными формами данного строя языка, связать таким образом, чтобы по одной форме можно было заключить о свойстве если не всех, то многих остальных. До сих пор языкознание большею частью принуждено вращаться в кругу элементарных наблюдений над разрозненными явлениями языка и даёт нам право лишь надеяться, что дальнейшие комбинации этих явлений от него не уйдут. Покамест возможны лишь шаткие заключения о роли данного явления в общем механизме словесной мысли известного периода, так как мы умеем читать лишь самые грубые указания на родство явлений» [Потебня, 1958: 76].

В связи с пониманием грамматического значения как элемента частеречного значения слова Потебня ставит вопрос о грамматической форме как о знаке места денотата слова в субъективной картине мира. Так, грамматические признаки существительного представляет собой знак отнесённости денотата слова к классу явлений, которые оцениваются носителем языка как субстанция и практически не соотносятся с лексическим значением слова. Даже категория рода существительных представляет собой для Потебни лексическую категорию лишь в той мере, в какой лексические категории отражают категории картины мира. Таким образом, грамматическое значение представляет собой для Потебни означающее системного положения слова в картине мира носителя языка. Возникает семантический параллелизм грамматического и вещественного значений слова (при этом мы должны лишний раз отметить, что грамматическое значение в генеративном и формальном плане является оформлением лексического). Если первое является выразителем места феномена в общей картине мира индивида, его категориальной мыслительной отнесённости, то второе представляет собой «этикетку», позволяющую идентифицировать данный феномен как один из видов содержания опыта человека. Например, центр категории имени – имя существительное – Потебня понимает как грамматический предмет. Грамматический предмет не является аналогом физического предмета, означая иногда и признак или действие (белизна, бабить). В противовес физическому, грамматический предмет представляет собой: 1) некую совокупность признаков, 2) которая свойственна, по мнению говорящего, данному явлению как «прежде познанное». Эта совокупность признаков по своим синтаксическим свойствам самостоятельна и не требует себе определения другим словом: «Существительное первоначально есть признак, заключённый (данный, уже готовый) в чём-то, определённом для мысли и без помощи другого слова» [Потебня, 1958: 96–97]. По признаку семантической определённости, самостоятельности Потебня противопоставляет существительное другим именам. Существительное

ставится в отношение к глаголу «как воспоминание прежде познанного к познаваемому вновь» [Потебня, 1958: 93]. Соответственно, прилагательное противопоставляется внутри имени существительному как отдельное представление о признаке, совокупности признаков и не способное самостоятельно выразить понятие о предмете.

Итак, часть речи как грамматическое значение слова представляет собой у Потебни набор грамматических (морфологических и синтаксических) средств обозначения категориальной отнесённости слова в общей картине мира, выступающей как содержание по отношению к конкретным совокупностям грамматических форм. Такой набор для Потебни с грамматической точки зрения является системой средств выражения места лексического значения в системе картины мира индивида.

Часть речи в системе внутренней формы языка

Общепринятым среди исследователей творчества Потебни является признание того факта, что в основе выделения Потебней частей речи лежит синтаксический подход, а сами части речи являются продуктом функционирования слов в качестве членов предложения. Сам Потебня писал: «Части речи и части предложения (члены предложения в современной терминологии – Ю. С.) – это две различные точки зрения на один и тот же предмет» [Потебня, 1981: 145]. Данное высказывание мы склонны расценивать как проявление дуалистического противопоставления Потебней в языковой деятельности языка и речи и, применительно к нашему вопросу, частей речи как инвариантных единиц языка членам предложения как фактуальным речевым манифестациям. Видя основную цель языкознания в том, чтобы описать историю развития мышления в связи с развитием языковых средств (ср. известное высказывание: «Так и из основного взгляда на язык как на изменчивый орган мысли следует, что история языка, взятого на значительном протяжении времени, должна давать ряд определений предложения» [Потебня, 1958: 83]), Потебня считал, что в основе определения частей речи должно лежать не разнесение слов по определённым классам, а изучение изменения грамматического значения слов в связи с изменением строя языка: «Понимая язык как деятельность, невозможно смотреть на грамматические категории, каковы глагол, существительное, прилагательное, наречие, как на нечто неизменное, раз навсегда выведенное из всегдашних свойств человеческой мысли» [Потебня, 1958: 82], – и далее: «Переходя от того состояния, при котором психологическое сказуемое есть ещё бесформенное слово, т.е. слово, предшествующее образованию грамматических категорий, к языкам наиболее развитым в формальном отношении, каковы наши, мы замечаем в этих последних, что главное предложение в этих языках невозможно без *verbum finitum* [...] Поэтому, определивши, что такое глагол, тем самым определим, что такое *minimum* того, что должно заключаться в предложении этих языков» [Потебня, 1958: 83–84].

Потебня считал части речи генетически связанными с синтаксическими структурами предложения (словосочетаниями) и рассматривал их как продукт длительного развития языка и грамматикализации отдельных видов слов-членов предложения. Потебня склоняется к мнению о синтаксической семантике как об основной для частей речи, в противовес широко бытующему определению части речи, опирающемуся на «категориальную», логическую в принципе семантику: «Если бы мы не различали частей речи, то тем самым мы бы не находили разницы между отношениями подлежащего и сказуемого, определяемого и определения, дополняемого и дополнения, то есть предложение для нас бы не существовало» [Потебня, 1993: 102]. Как синтаксическая по своей природе категория часть речи для Потебни представляет собой знак отнесённости слова к стандартным элементам мысли, ставшим в процессе развития членами предложения, элементами грамматического строя языка.

Стремление Потебни увязать часть речи с синтаксической категорией связано со стремлением к изучению функционирования слова в процессе речи как выразителя мысли. Мысль выражается предложением, следовательно, часть речи как совокупность значений слова, проявляющихся в предложении, представляет собой категорию, отражающую строй мысли. Однако отождествление мысли и предложения как её выразителя не заставляет Потебню отождествить развитие предложения с развитием мышления, как это было сделано в «новом учении о языке».

Понимая часть речи как синтаксическое по происхождению и по функции явление, Потебня пытается дать определение каждой части речи на основании её стандартных синтаксических функций. Как известно, в центре учения Потебни о предложении лежит понятие предиката, тесно связанное с морфологическим понятием глагола как типичного носителя предикативности в индоевропейских языках. Соответственно, часть речи является типическим набором грамматических категорий слова, означающим обычные синтаксические позиции данного слова как вместилища этих грамматических признаков в отношении к другим потенциальным синтаксическими единицам: «Разница между существительным и прилагательным сходна с разницей между предложением, состоящим из подлежащего и сказуемого, и предложением без подлежащего, с одним сказуемым. В последнем случае в сказуемом обозначено отношение к подлежащему, но само подлежащее не мыслится. Так и в прилагательном бел, белый мыслится и то, что признак находится в чём-либо, но само это нечто со стороны своего содержания не мыслится. Оно определено лишь грамматической формой прилагательного; оно есть при белый, именительный един. числа м. р., а в прочем может быть названием какой угодно совокупности признаков» [Потебня, 1958: 94].

Мы уже отмечали, что часть речи понимается у Потебни как инструмент, позволяющий эксплицировать статус означаемого в содержании опыта субъекта. Такой инструмент может иметь самое различное устройство, то есть состоять из различных наборов значений, выраженных различными

способами (в том числе и морфологически), что позволяет ему быть максимально информативным. Показательно, что в основу частеречной семантики Потебня кладёт синтаксические категории, что связывает часть речи как концепт с мыслительными процессами человеческой психики. Совершенно логично, что учёный не даёт конечного списка частей речи: согласно его концепции такого списка не может быть, как не может быть конечного списка форм, которые может принять человеческая мысль, которую нельзя отождествить с набором грамматических категорий. Таким образом, у Потебни возникает параллелизм функционирования мышления и оформления его результатов языковыми средствами.

Взгляд Потебни на отношения грамматики и языка вообще к мышлению оттеняют взгляды представителей «нового учения о языке». С.Д. Кацнельсон отмечал, что «Стремясь раскрыть психологическую подоплеку грамматической эволюции, Потебня был далёк от того, чтобы уловить скрытый за ней процесс образования категорий мышления. В развитии грамматических форм он видел лишь непрерывное усложнение способов, которыми сознание расчленяет неизменные в своей основе чувственные элементы мысли» [Кацнельсон, 1940: 74]. Мы не можем согласиться с мнением Кацнельсона, поскольку в его высказывании упущена трактовка предложения как способа оформления мысли, очень важная для адекватного понимания взглядов Потебни. В противовес взглядам Потебни Кацнельсон в приведённом высказывании привнёс идею «нового учения о языке» об изоморфизме языка мышлению, которая чужда Потебне.

Мы ещё раз должны отметить, что для Потебни очень важна идея о грамматической категории как о необязательно выражаемой морфологическими средствами. Переноса центр внимания со средств выражения на значения языковых фактов, Потебня снимает противопоставление между синтаксисом и морфологией, относя их средствам выражения одного и того же содержания. «Части речи и члены предложения – это две различные точки зрения на один и тот же предмет», – писал Потебня [Потебня, 1981: 145].

Итак, мы можем утверждать, что в представлении Потебни часть речи представляет собой знак (совокупность означаемого и значения) наиболее общих мыслительных категорий, конструирующихся сознанием носителя языка из перцептивных элементов комплекса восприятия означаемого словом. Этот знак представляет собой интерсубъективную релевантную для носителей данного языка определённого грамматического строя классификацию значений слов, выражающую классификацию понятий в картине мира носителей данного языка грамматическими средствами.

Оригинальная методологическая позиция Потебни, которую можно охарактеризовать как собственно функционально-прагматическую непосредственно повлияла на форму, которую приняли его взгляды на отдельные лингвистические вопросы и, в частности, на вопрос определения лингвистического статуса частей речи. Мы полагаем, лингвистическая концепция Потебни представляет собой первую по времени попытку в ис-

тории отечественной лингвистики создать собственно целостную всеохватывающую теорию языковой деятельности на основании идей, сходных с положениями функционально-прагматической методологии, что позволяет говорить об Александре Афанасьевиче Потебне как об одном из первых функционалистов в отечественном языкознании.

ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ БОДУЭНА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Онтология. Точкой, от которой отталкивался Бодуэн в оценке онтологической природы языка, была идея об объективном существовании языка как о независимом от индивида объекте. В противовес ей учёный выдвинул положение, отрицающее существование языка как реального независимо от индивида феномена: «Obiektywnie żaden język nie istnieje. Nie istnieje mowa ludzka w ogóle. Nie istnieje tak zwany język polsky w szczególności» [Baudouin, 1984: 139]. Отрицание объективного существования языка может навести на мысль о крайнем позитивизме учёного. Действительно, отрицание реальности языка следовало бы оценить как проявление позитивизма в духе младограмматизма. Однако следует подчеркнуть, что Бодуэн отрицает объективное существование языка и говорит о существовании отдельных носителей языка, в психике которых и существуют языковые единицы: «Isnjeją, jako realności, jedynie indywidua, czyli osobniki ludzkie, a raczej pojedyncze głowy ludzkie oraz należące do nich inne części organizmu w ten lub ów sposób ujęzykowane» (то есть не данные в непосредственном опыте – Ю. С.) [Baudouin, 1984: 139], – что чётко противопоставляет данный взгляд позитивистскому по признаку признания существования инварианта и психической его локализации («części organizmu w ten lub ów sposób ujęzykowane»). Таким образом, Бодуэн предполагает взгляд на язык как на ментальное, существующее в психике отдельного индивида, а не реальное, объективно-вещественное или объективно-идеальное явление.

Язык как психическое явление Бодуэн рассматривает в качестве связанного с мышлением динамического процесса, служащего для осуществления общения индивидов: «Dzięki istnieniu ruchomych a zmiennych grup wyobrażeń językowych odbywa się w głowach ludzkich proces cerebracji językowej, czyli proces myślenia językowego, a za pomocą uzewnętrzniania się myślenia językowego dokonywa się proces obcowania indywiduów w społeczeństwie ludzkim» [Baudouin, 1984: 139]. Таким образом, для Бодуэна психика является субстратом языка, существующего лишь как процесс, как субъективная семиотическая деятельность. Говоря о языке как о процессе языкового мышления, Бодуэн утверждал не сводимую к субстанциональному взгляду динамичность такого мышления у отдельных субъектов. Однако субъективизм Бодуэна в понимании языка сочетается с взглядом на язык (или личные языки) как на субъективные динамичные коммуникативные системы подобные друг другу: «Stwierdzamy w nich bowiem mniej więcej jednakowe kompleksy ruchomych a zmiennych wyobrażeń językowych polskich» [Baudouin, 1984: 140]. Такая динамическая система, по мысли Бо-

дуэна, более или менее тождественна у разных носителей языка, что проявляется ещё и в том, что языковое мышление это также и «mniej więcej jednakowe sposoby uwewnętrzniania wyobrażeń językowych i ich rozbudzania podczas dokonywającego się procesu obcowania międzyjednostkowego», и способ «rozszerzania i przyswajania sobie nowych wyobrażeń» [Baudouin, 1984: 140], то есть субъективный «способ присвоения чужой мысли», если выражаться языком А.А. Потебни.

Субъективное, психическое существование языка у Бодуэна связано с регулированием человеком своего коммуникативного опыта. Возникновение языка у субъекта Бодуэн связывает с восприятиями субъекта и с созданием им соответствующих этим восприятиям языковых представлений, которые и определяют языковую деятельность: «Właściwy proces powstawania i utrwalania się języka indywidualnego dokonywa się jedynie w mózgu jednostkowym, w duszy jednostkowej. Każda jednostka tu ab ovo, z każdą jednostką właściwie zaczyna się i kończy się świat cały, o ile jest on odbiciem makrokosmu w mikrokosmie psychicznym. Każda jednostka musi na własną rękę wytworzyć w sobie cały zapas wyobrażeń warunkujących życie językowe» [Baudouin, 1984: 139]. Приведённая цитата позволяет утверждать, что Бодуэну был не чужд взгляд на язык как на продукт не столько познавательной, сколько созидающей психической деятельности, что говорит о его неклассическом взгляде на онтологию вообще и онтологию языка в частности, заключающемся в убеждении о зависимости онтологических единиц от гносеологии.

Бодуэн чётко и последовательно противопоставляет язык как психическое инвариантное явление средствам его экспликации (речевым актуальным единицам). Причём, это противопоставление применяется к двум взаимно противоположным процессам речевой деятельности (языкового мышления в терминах Бодуэна): экспрессивного (порождение речи) и перцептивного (восприятие речи) [Baudouin, 1984: 141]. Учёный выделял три главных процесса в «языковом мышлении»: 1) процесс мышления или «церебрации», порождения языковых смыслов и знаков, заключающийся в создании индивидом языковой системы; 2) процесс экспликации; 3) процесс восприятия. При применении этой схемы к противопоставлению устной и письменной речи она принимает такой вид: «1) *cerebracją, czyli myślenie indywidualnie społecznie uruczone*, 2) *fonacją, czyli akcją fonetyczną, fonacyjną, wymawianiową*, 3) *audycją, czyli percepcją akustyczną, słuchową*» и «1) *cerebracja, czyli myślenie indywidualnie społecznie uruczone*, 2) *akcja graficzna*, 3) *percepcja optyczna*» [Baudouin, 1984: 142] соответственно. Нетрудно заметить, что пункты 1 в приведённых схемах Бодуэн сознательно объединяет и противопоставляет пунктам 2 и 3 по признакам локализации и обусловленности. Итак, все процессы, не связанные с непосредственной экспликацией и перцепцией знаков речи (звуков или графем), Бодуэн отождествляет независимо от характера избранных индивидом знаков речи и считает их, прежде всего, субъективными по локализации и обусловленными социально. Такую точку зрения на онтологический ста-

тус языка как ментальное явление мы считаем абсолютно тождественной онтологическим положениям функционального прагматизма.

Понимая язык как функционально детерминированное и, следовательно, изменчивое субъективное психическое явление, Бодуэн рассматривает элементы языка как динамические, изменчивые, подвижные явления. Языковые единицы по Бодуэну представляют собой отношения. В этой связи учёный выдвигает понятие ценности как основы отношения. Согласно мысли Бодуэна, элементы языка не являются стабильными явлениями. Напротив, учёный утверждал, что элементы языка «nie możemy uważać za coś stałego i nieruchomego. Badacz obiektywny i liczący się z realnościami może je określić, tylko uwzględniając ciągły ruch i przemianę jednych wartości (выделение наше – Ю. С.) na drugie podczas procesu obcowania międzyjednostkowego» [Baudouin, 1984: 143–144]. В приведённой цитате обращает на себя внимание определение онтического статуса языковой единицы как динамического отношения через понятие ценности (wartości), использовавшееся также и Ф. де Соссюром. Мы склонны интерпретировать приведённое высказывание Бодуэна как взгляд на языковую единицу как на актуальное ценное для процессов речевой деятельности динамическое отношение двух элементов, являющееся реализацией в речевой деятельности инвариантного отношения, которое также имеет ценностный характер. Нетрудно заметить, что в нашей интерпретации введено противопоставление актуальных и инвариантных единиц речевой деятельности, что может показаться сверхинтерпретацией взглядов Бодуэна. В этом плане мы опираемся на проведённое самим Бодуэном противопоставление элементов языкового мышления (myślenie językowe), которые определяются учёным как динамичные, но относительно стабильные, постоянные (в нашей терминологии инвариантные психические единицы [Baudouin, 1984: 145]), актуальным психическим элементам, возникающим в процессе речевого общения («elementy, właściwe uzewnętrznianiu się myślenia językowego przy obcowaniu międzyjednostkowym» [Baudouin, 1984: 145]). В этой связи примечательна оговорка Бодуэна, отказывающая «реальным» непсихическим явлениям в статусе языковых: «Wychodząc w świat fizyczny, element językowy przestaje być elementem językowym, a staje się nim dopiero wtedy, kiedy powraca ze świata fizycznego do indywiduów słyszących i percypujących» [Baudouin, 1984: 145]. Таким образом, опираясь на высказывания самого Бодуэна, мы утверждаем, что в его концепции язык является: 1) субъективным психическим явлением, возникающим из индивидуального опыта осмысления коммуникативных актов, освящённых существующей в обществе традицией такого рода, что 2) будучи изоморфным в психиках разных индивидов, является онтологически интересубъективным психическим явлением, 3) постоянно обобщающим и определяющим процессы языкового мышления (языковой деятельности в нашей терминологии) в качестве их инварианта, 4) через онтически динамичные ценностные отношения минимум двух психических единиц, 5) эксплицируемым различными (фонетическими или графическими) экстралингвистическими объективными (чувс-

твенно воспринимаемыми) средствами, которые могут быть восприняты и соотнесены с психическими инвариантными языковыми единицами.

Каждая языковая единица имела для Бодуэна значение только в отношении к своему психическому инварианту как элементу субъективной языковой системы: «Собственно говоря, ни темы, ни окончания не существуют; существуют только произносимые слова. Темы и окончания мы выделяем из слов для научных целей. Однако это выделение не должно происходить без объективного основания. Самое языковое ощущение узнает и определяет как темы, так и окончания» [Бодуэн, 1963а: 33]. Вся языковая деятельность для Бодуэна, как это видно из приведенных цитат, сводится к психической деятельности (безотносительно к тому, является ли субъектом такой деятельности ученый или просто носитель языка). Ученик Бодуэна по Казанскому университету, проф. В.А. Богородицкий, настаивал на том, что части слова, как и слова, представляют собой действительные феномены психики носителей языка [Богородицкий, 1939: 147]. «Взгляд проф. Богородицкого, что 'морфемы или морфологические части не суть фикции, но действительные части слов', я тем более считаю верным и единственно возможным, что сам положил его в основание одной из своих работ» [Бодуэн, 1963б: 43], – писал по этому поводу Бодуэн. Таким образом, Бодуэну и его ученикам было свойственно рассматривать все языковые явления как реальные, однако такая реальность для них носила виртуальный, правомочный только в пределах отдельно взятой человеческой психики, характер, который никак не сводим к объективизму, настаивающему на объективной реальности языковых явлений. Напротив, приведённые положения мы склонны интерпретировать как утверждение о виртуальном характере человеческого опыта как реального явления, о виртуальном характере языка как факта человеческого опыта.

Исходя из менталистского взгляда на язык, Бодуэн отрицал объективность существования национальных или племенных языков, считая, что они могут существовать только как идеальные объекты науки, вызванные к жизни спецификой человеческой креативной мыслительной деятельности, и принципиально не могут быть тождественны языку как онтологическому объекту [Бодуэн, 1963а: 211]. В этой связи находится и проводившееся Бодуэном противопоставление своих взглядов метафизическим объективистским взглядам А. Шлейхера [Бодуэн, 1963б: 140]. На этом основании мы считаем, что в основе взглядов Бодуэна на существование языка лежало представление о субъективном характере бытования смысла.

В противовес своим современникам, в частности Потёбне, который, тяготел к спекулятивному рассмотрению онтологии языка, Бодуэн стремился акцентировать внимание на физиологической подкладке языка, в чём мы видим рефлексы господствовавшего в то время позитивизма. Все психические процессы Бодуэн увязывал с физиологией: «В языке мы различаем две стороны: психическую и физиологическую, церебрацию и фонацию, иначе говоря: 1) язык в точном значении этого слова и 2) произношение. Сущность языка составляет, естественно, только церебрация, т.е.

мозговой процесс, унаследованный и приобретённый путем зоологического развития и под влиянием окружения, приобщенного к общественной жизни» [Бодуэн, 1963а: с. 144]. Такое акцентирование внимания на собственно физиологическом субстрате языка является важной особенностью взглядов Бодуэна и его последователей (ср., например, [Богородицкий, 1939: 5–8]) и должно рассматриваться вместе с уравнивающим его представлением о социальной природе языка, которое очерчивает менталистскую составляющую представлений Бодуэна.

Бодуэн выделял в языке две стороны: 1) семантическую, субъективную по своему онтологическому статусу и 2) объективную, чувственную [Бодуэн, 1963а: 60]. Эти две стороны языка для учёного находились в тесном взаимодействии, определяя друг друга. Так, речь (письменная или устная) представлялась Бодуэну способом объективирования человеческой мысли и, следовательно, необходимо обусловлена индивидуальной психикой носителя языка [Бодуэн, 1963б: 251].

Индивидуальную языковую деятельность, как и интересубъективное языковое взаимодействие, Бодуэн разделил на три области: «1) na stronę fizyczną, wymawianiowo-słuchową, przenoszoną po drogach świata pozajęzykowego od indywiduum do indywiduum; 2) na powstające w duszach indywidualnych wyobrażenia pozajęzykowe, semajologiczne, znaczeniowe, będące skutkiem odbicia w naszej psychice zjawisk świata fizycznego, świata społecznego i świata własnych przeżyć psychicznych; 3) na stronę morfologiczną, będącą skutkiem skrzyżowania się w duszach ze stroną wyobrażeń pozajęzykowych, wyobrażeń znaczeniowych» [Baudouin, 1984: 146]. Такое разделение, на наш взгляд, предполагает рассмотрение грамматического (морфологического) в языке как центральной языковой составляющей. Фонетические и лексико-семантические явления Бодуэн, кажется, вывел за пределы собственно языка, рассматривая их как безусловно психические явления, но связанные не столько с языком как системой порождения знаков, сколько с физиологией (фонетика) и мышлением (лексическая семантика). Таким образом, языковая деятельность у Бодуэна предстает как тройственное отношение: с одной стороны, чувственных воплощений, значимых для межсубъектной коммуникации звуков, интериоризированных субъектом данных опыта, с другой стороны, и правил построения языкового знака, являющихся точкой пересечения, отношением, функцией (skrzyżowanie). Такой подход, как нам кажется, заставляет чётко разграничить в языке формальные и семантические явления как внеязыковые (перцептивно-артикуляционные и когнитивно-когитативные), с одной стороны, и способы их соотношения в процессе языковой деятельности как модели оформления значений. Это наше утверждение подтверждается высказыванием самого Бодуэна: «в языке в неразрывной связи сочетаются два элемента: физический и психический (разумеется, эти различия нельзя воспринимать в смысле метафизического различия, а должно их разуметь просто как видовые понятия)» [Бодуэн, 1963а: 61]. При этом грамматика языка является своего рода фокусом, в котором пересекаются физические и психические явления, обслужива-

ющие межсубъектную коммуникацию. Оговорку в приведённой цитате о неметафизическом употреблении терминов психическое и физическое мы рассматриваем как ещё одно указание на представление о ментальном характере бытования как звуков языка, так и языковых значений, остающихся, тем не менее, своего рода расходящимися мостиками от грамматики к трансцендентному и трансцендентальному видам опыта. Так, несмотря на отнесение звуков языка к «физической» сфере, Бодуэн определяет фонему как «połączenie w jednolitą grupę wyobrażeń wyobrażeń prac wykonawczych organów mównych oraz wyobrażeń związanych z tymi pracami odcieni akustycznych, wyobrażeń, złożonych w jedną całość wyobrażeniem jednoczesności wykonywania owych prac i otrzymywania (percepcji) wrażeń od owych odcieni akustycznych» [Baudouin, 1984: 147]. Таким образом, фонема, как коммуникативно-значимое представление о звучании и артикуляции звука, несмотря на свой «физический» статус, является для Бодуэна, как и всякая другая языковая единица, инвариантным психическим образованием. Инвариантно-психический статус языковых единиц в концепции Бодуэна определяет их отношение к «физическим» реализациям. Из приведённой цитаты видно, что такое психическое отношение с точки зрения Бодуэна носит двунаправленный характер, что позволяет рассматривать фонему как единый инвариант по отношению как к воспринимаемому, так и к порождаемому фонетическим единицам речи. Фонемы как звуки языка при этом представлены по Бодуэну только in potentia, то есть не существуют в прямом смысле слова, бытуя в психике как некая модельная возможность или предрасположенность. И только в случае возникновения у индивида необходимости в актуальном речевом акте они реализуются как конкретные звуки, причем происходит переход от satus in potentia фонемы (или другой инвариантной единицы) к status in actu конкретной речевой единицы, например, звука речи [Baudouin, 1984: 146–147].

Из сказанного выше ясно, что когнитивная деятельность индивида закономерно не является для Бодуэна единственным источником формирования индивидуального языка как ментального явления. Вторым фактором возникновения и изменения языка, объясняющим саму возможность языкового общения, является отмеченное уже представление Бодуэна о становлении языка в социальном взаимодействии индивида в процессе его жизнедеятельности: «Język istnieje tylko na gruncie psychicznym, w indywidualnej duszy ludzkiej. Wszystko stale w języku, wszystko nieprzerwanie żywe należy całkowicie do dziedziny świata psychicznego. Ale znowu indywidualno-psychiczne istnienie języka, tj. myślenia językowego, możliwe jest tylko pod warunkiem współistnienia innych istot ludzkich również ujęzykowionych i wzajemnie na siebie oddziaływających, czyli możliwe jest tylko w społeczeństwie, w zbiorowości ludzkiej» [Baudouin, 1984: 139–140], – и далее: «[...]indywidualnie istniejący świat psychiczno-językowy mógł powstać również tylko w społeczeństwie, tylko dzięki wzajemnemu oddziaływaniu jednych jednostek na drugie» [Baudouin, 1984: 140].

Интересен взгляд Бодуэна на соотношение «церебрации» к средствам её экспликации. Если при рассмотрении процессов порождения и восприятия речи (статический, синхронический аспект рассмотрения) учёный однозначно их противопоставил, то при рассмотрении динамического аспекта бытования языка Бодуэн говорит о взаимосвязи и взаимозависимости церебрации и средств её экспликации: «Bez tych dwóch procesyw (фонации и аудиции – Ю. С.) uzmysławiających język, niemożliwe byłoby jego wytwarzanie, powstanie i istnienie» [Baudouin, 1984: 143]. Язык, таким образом, для Бодуэна является возникающим в социальном коммуникативном взаимодействии индивидов отношением субъективных психических процессов и объективных (чувственно воспринимаемых) средств их экспликации. В этой связи мы не можем лишиться раз не процитировать утверждение Бодуэна об именно психическом и субъективном статусе языковых единиц в противовес чувственным явлениям, которые для Бодуэна, по определению, являются неязыковыми: «Wychodząc w świat fizyczny, element językowy przestaje być elementem językowym, a staje się nim dopiero wtedy, kiedy powraca ze świata fizycznego do indywiduów słyszających i percypujących» [Baudouin, 1984: 145]. Язык как отношение, существование у различных субъектов подобной системы субъективных представлений и средств их объективной экспликации, может существовать, по мысли Бодуэна, только в социально-культурном континууме в виде «коммуникативной традиции», бытующей субъективно, но выраженной объективными средствами (звуками речи): «Ciągłość języka w społeczeństwie polega na przekazywaniu go od jednostki do jednostki, na tradycji» [Baudouin, 1984: 143].

Важным элементом онтологической характеристики языка в концепции Бодуэна является утверждение о социально-прагматической функции (назначении) существования языка как субъективного психического динамического образования: «Nareszcie jasną jest rzeczą, że język ludzki ma tylko o tyle sens, o ile służy do celów obcowania» [Baudouin, 1984: 140]. Приведённое положение позволяет говорить о прагматизме Бодуэна, который утверждает и оправдывает существование языка только в связи с его назначением, применением в социальном взаимодействии как средства общения. В этой связи Бодуэн рассматривал язык как субъективное психическое динамическое явление, непосредственно и постоянно обусловливаемое повседневным социальным взаимодействием индивида. Учёный считает неперменным условием адекватного изучения языка учёт этой социальной детерминанты языка как ментального явления: «[...]charakterystyka psychologiczna jakiegokolwiek języka musi być właściwie jego charakterystyką psychologiczno-socjologiczną, tj. musi wykazać, jakie to prądy wytwarzają się w duszach indywiduów należących do danej społeczności językowej skutkiem wpływu obcowania międzyjednostkowego» [Baudouin, 1984: 140].

Интересны взгляды Бодуэна на возникновение и историю языка. Он одним из первых высказал мысль о полигенетическом характере зарождения и развития языка, обусловленного языковой способностью как врождённым качеством каждого человека [Бодуэн, 1963б: 88], которая позже полу-

чила широкое развитие в трудах последователей «нового учения о языке». Такая врождённая языковая способность детерминирована, по Бодуэну, в филогенетическом плане особенностями устройства человеческого тела и психики [Бодуэн, 1963б: 86], а в онтогенетическом плане является системой, которая одновременно детерминирована отношениями между физическими и психическими факторами [Бодуэн, 1963а: 207, 209; Бодуэн, 1963б: 58]. Скрыто полемизируя с Гумбольдтом, Бодуэн утверждал, что «Между языковыми индивидами и языковыми группами имеется непрерывность и смежность (соседство) в двух направлениях: 1) в пространстве, как смежность пространственная, географическая, территориальная, связанная с языковым общением и взаимным влиянием; 2) во времени, как непрерывность и последовательность поколений, связанная с преданием (с традицией) и с влиянием предков на потомков и даже, наоборот, потомков на существующих еще предков» [Бодуэн, 1963б: 76], перенося проблему известных антиномий из плоскости метафизики в плоскость рассмотрения взаимодействия носителей языка во времени и пространстве. Изменения языка Бодуэн понимал в функционально-психологическом ключе как изменение взаимосвязанных произношения и представления о нем [Бодуэн, 1963а: 188]. Историю языка Бодуэн предлагал рассматривать как дискретное движение. «Только у индивидуумов имеет место развитие в точном понимании этого слова. Языку же племени свойственно прерывающееся развитие, традиция» [Бодуэн, 1963а: 188]; «Для индивидуума начало речи является началом его языкового развития, для целого же человеческого рода начало языка является началом его истории» [Бодуэн, 1963а: 209]. Таким образом, Бодуэн видит преодоление антиномии неделимого, выдвинутой В. Гумбольдтом, в противопоставлении истории как дискретного процесса, подверженного влиянию статистических факторов, прогрессу как процессу индивидуального непрерывного развития, в данном случае языковой системы, в рамках психики её носителя. Развитие языка индивида на основании его языковой способности, по Бодуэну, обусловлено отношениями в социальной языковой среде, в которой находится индивид, участвуя в которой и сам индивид может определять некоторые черты индивидуальных языков других людей [Бодуэн, 1963а: 208] и тем влиять на исторические изменения в языке.

Бодуэн активно возражал против понимания филогенетической истории языка как направленного прогресса, противопоставляя ему идею истории языка как изменения, в лучшем случае, прерывающегося прогресса [Бодуэн, 1963а: 224] в противовес онтогенетическому изменению языка как именно прогрессу. При бодуэновском понимании детерминизма только индивидуальный язык является закономерным явлением, в то время как изменения в племенном языке носят скорее случайный, статистический, хотя и общераспространённый характер: «История является последовательностью явлений однородных, но разных, связанных между собою посредственной, а не непосредственной причинностью» [Бодуэн, 1963а: 251].

Важнейшим фактором развития языка в фило- и онтогенетическом планах Бодуэн считал «человеченье» языка, «т.е. факт всё большего удаления от языкового состояния, свойственного другим животным высшего порядка» [Бодуэн, 1963а: 348]. Основными факторами такого «человеченья» Бодуэн, подобно Потебне, считал: 1) привычку как бессознательную память; 2) стремление к удобству; 3) забывание (в основном того, что не понято), вызывающее перестройку языковой системы; 4) апперцепцию как бессознательное обобщение; 5) бессознательную абстракцию [Бодуэн, 1963а: 58]. Этот взгляд подчёркивает представление Бодуэна о языке как о специфически человеческом явлении, бытующем и неотделимом от психики индивида.

В качестве квинтэссенции онтологических представлений Бодуэна в области языкознания может быть приведено его же высказывание: «1). Нет никаких 'звуковых законов'. 2). Причислять язык к 'организмам', языковедение же к естественным наукам – есть пустая фраза, без фактической подкладки. 3). Сущность человеческого языка исключительно психическая. Существование и развитие языка обусловлено чисто психическими законами. Нет, и не может быть в речи человеческой или в языке ни одного явления, которое не было бы вместе с тем психическим. 4). Так как язык возможен только в человеческом обществе, то кроме психической стороны мы должны отмечать в нём всегда сторону социальную. Основанием языковедения должна служить не только индивидуальная психология, но и социология (до сих пор, к сожалению, не настолько ещё разработанная, чтобы можно было пользоваться её готовыми выводами)» [Бодуэн, 1963а: 348].

Итак, для Бодуэна язык как ментальный объект исследования детерминирован в пределах индивидуальной психики, причём такой детерминизм является, по его мнению, в основном бессознательным: развитие (и изменение за редким исключением) языка обусловлено не волюнтаристскими факторами, а устройством нашей психики, бессознательно стремящейся удовлетворить наши потребности, возникающие в социальном взаимодействии. Такой тип детерминизма (или, лучше, реляционизма) можно ещё назвать прагматическим. К такой оценке в значительной степени приближался А.А. Леонтьев [Леонтьев, 1959; Леонтьев, 1961]. Однако прийдя к сходным выводам, учёный интерпретировал методологические взгляды Бодуэна как вызванные философской некомпетентностью в области диалектики и объяснил «наивной материалистичностью» [Леонтьев, 1959: 116]. Мы не можем согласиться с этим и на основании сказанного мы должны охарактеризовать онтологические взгляды Бодуэна как антропоцентрический реляционизм, что позволяет рассматривать их как функционалистские в вопросах языковой онтологии и настаивать на философской полноценности его взглядов.

Гносеология. В противовес онтологии языка, вопросы гносеологии представлены в работах Бодуэна лишь косвенно, в той мере, в которой они были необходимы ему для изложения своих общелингвистических пред-

ставлений. По этой причине следы гносеологических представлений учёного приходится искать среди его высказываний об онтологии языка.

На наш взгляд, основным элементом гносеологических взглядов Бодуэна является его убеждение в невозможности непосредственного познания мира вообще и языка в частности. Возникновение у нас субъективных языковых представлений и существование субъективных языковых представлений другого человека для нас возможно только через опытное выражение ими и нами своих идей с помощью внешних сигнальных средств (звуков): «Bez ośrodkyw i pośrednikyw fizycznych niemożliwa jest ciągłość społeczna języka w przestrzeni i w czasie, a nawet niemożliwe jest istnienie indywidualnego myślenia językowego» [Baudouin, 1984: 143]. Таким образом, наши познавательные возможности в приложении к чужой психике и к языку как её элементу ограничены данными нашего языкового опыта. Рассматривая психику как функцию организма в связи с его физиологическими особенностями, Бодуэн противопоставил познанное человеком миру, считая продукт познания обусловленным как собственно психикой субъекта, так и воздействием на нервную систему (у Бодуэна «рефлекторный аппарат») внешних факторов, т.е. объекта [Бодуэн, 1963б: 58]. «Мир физический и миры физиологическо-биологические (т.е. тела), до нашего собственного включительно, находятся вне каждого из нас; они не мы, но мы их можем изучать с помощью внешнего наблюдения и опыта» [Бодуэн, 1963б: 130]. Приведённую цитату мы интерпретируем как утверждение о принципиальной неадекватности результата познания его объекту как субъективного представления. Таким образом, Бодуэн повторяет мысль И. Канта о познавательной пропасти между представлениями о мире и миром, взятом самом по себе и об опыте как способе её (этой пропасти) функционального и прагматического замещения. На этом основании мы уже на данном этапе можем квалифицировать гносеологические представления Бодуэна как субъективистские (или иначе – антропоцентристские).

Способом преодоления пропасти трансцензуса Бодуэн считал языковой опыт: поскольку язык является психическим явлением, то он может быть исследован как часть психики, единственный данный нам в непосредственном наблюдении. «Внутреннее наблюдение мы можем производить только над собственной душой, над собственным психическим миром, над нами самими в полном смысле этого слова» [Бодуэн, 1963б: 130]. Таким образом, адекватное, с гносеологической точки зрения, исследование языка может базироваться только на самонаблюдении, что можно объяснить только предположением о субъективистской природе познания в концепции Бодуэна. При понимании гносеологии Бодуэна как субъективистской, становится понятным утверждение Бодуэна о том, что «психический мир других существ скрыт от нас» [Бодуэн, 1963б: 130]. Действительно, психика другого человека нам недоступна иначе, как в виде отдельных следов своего функционирования, представленных физическими явлениями (например, звуками), которые «находятся вне каждого из нас». Объектом исследования языкознания при таком понимании может быть либо собс-

твенный язык исследования, либо те данные, которые нам может предоставить речь других людей и которые лингвист может воспринять на основании своих языковых знаний, что заставляет рассматривать такую гносеологию как апостериорную.

Таким образом, наш опыт, согласно Бодуэну, даёт возможность судить о мире не адекватно, а только в меру наших способностей и предрасположенностей. Средством преодоления пропасти между психическими мирами является аналогия, проводимая субъектом между своим душевным миром и другим существом, представленным в опыте: «Но мы можем делать об этих психических мирах других существ аналогические умозаключения при помощи средств внешнего мира, путём внешнего наблюдения» [Бодуэн, 1963б: 130]. Как видим, Бодуэн, подобно Потембне, рассматривал аналогию в качестве основы наших представлений о внутреннем мире (опыте) других людей.

Такая точка зрения у Бодуэна тесно связана с рассмотрением языка как орудия создания картины мира: «В языке, или речи человеческой, отражаются различные мировоззрения и настроения как отдельных индивидов, так и целых групп человеческих. Поэтому мы в праве считать язык особым знанием, т.е. мы вправе принять третье знание, знание языковое, рядом с двумя другими – со знанием интуитивным, созерцательным, непосредственным, и знанием научным, теоретическим» [Бодуэн, 1963б: 79]. Язык как особого рода знание Бодуэн считал возможным рассматривать «с одной стороны, действием, делом, а с другой – вещью, предметом внешнего мира. И то, и другое является результатом как длинной, непрерывной цепи ассоциаций по известному сходству в представлении и вызываемом через него настроении, так и смещения понятий, лежащего в основании нашего бескритичного, не аналитического, сбивчивого, сонно-бодрствующего мышления» [Бодуэн, 1963б: 81]. Таким образом, язык как орудие оформления знания Бодуэн понимает как результат специфически человеческой работы мысли, направленной на осмысление опыта. Такая работа непосредственно связана для Бодуэна с языком [Бодуэн, 1963а: 227]. Например, категория количества выступает для Бодуэна одновременно как мыслительная и языковая [Бодуэн, 1963а: 311–324].

На основании сказанного мы однозначно квалифицируем гносеологические представления Бодуэна как субъективистски-апостериорные.

Методика. Глядя на язык как на систему, члены которой обусловлены опытом и друг другом, Бодуэн предлагает описывать его в терминах математических отношений, предвещающая современное нам понимание языковой функции как отношения означаемого и означающего: «Надо было бы стремиться найти в языковом мышлении соответствия понятия математической функции, функциональной связи и функциональной зависимости, затем понятию обратимости явлений, понятию эквивалентов и суррогатов в связи с понятием подстановок, понятию несоизмеримости, понятию относительности (релятивности)» [Бодуэн, 1963б: 317]. Стремление к приближению методики языкознания к методике математики не ограничивается

у Бодуэна только заимствованием понятия функция. Состояние математики Бодуэн считал идеальным состоянием как естественной науки (каковой он считал лингвистику [Бодуэн, 1963а: 37]), способной предсказать факт еще до его появления на основании закономерностей, выведенных из неизбежного рассмотрения фактов, требуя от языкознания точного и неизбежного учёта фактов: «Метод языкознания есть метод естественных наук: он состоит в точном наблюдении объекта и в выводах, извлечённых из наблюдения. [...] Априористические же постройки разных идеальных философов трудно считать наукой, т.е. суммой положительных знаний, хотя они могут быть даже очень гениальными плодами человеческого ума» [Бодуэн, 1963а: 37]. Эта трактовка непосредственно опирается на субъективистские гносеологические представления учёного и сближается с идеей И. Канта о том, что наш разум на априорных основаниях способен создать такое, чему подтверждения в опыте может не оказаться [Кант, 1998: 262–263]. В этой связи показательны слова Богородицкого, который считал непереносимым условием научного исследования проверку соответствия научного аппарата объекту исследования: «Исследователю языка нужно всегда помнить, что он должен стремиться к изучению речи в её действительности; поэтому он должен подвергать строгой критике всякое грамматическое учение, внимательно рассматривая, не следует ли отнести это учение, так сказать, к лингвистической мифологии. В грамматиках принято, например, деление слов на морфологические части, но мы должны исследовать, действительно ли в живом языке слова разделяются на так называемые морфологические части, или же эти последние представляют лишь вымысел грамматиков» [Богородицкий, 1939: 147]. Как видим, Бодуэн и его ученик Богородицкий основывают свои методические представления на непереносимом соотношении теоретических научно-лингвистических представлений с данными наблюдений над языковой деятельностью (опытом), то есть на принципе фактуальности методики исследования.

Протестуя против различного рода научного априоризма, Бодуэн настаивал на неизбежном рассмотрении языкового материала, представленного в опыте при построении научной теории: «направление резонирующее, умствующее, априористическое, ребяческое. Люди этого направления чувствуют потребность в объяснении явлений, но берутся за это дело не так, как следует. Они придумывают известные начала, известные априористические принципы как в общем, так и в частности, и под эти принципы подгоняют факты, поступая с ними крайне бесцеремонно. Здесь источник разнороднейших предвзятых грамматических теорий как по отношению к развитию самого же языка, так и в применении лингвистических выводов к другим областям знания, к истории, к древностям, к мифологии, к этнографии и т.п.» [Бодуэн, 1963а: 54]. Богородицкий вторил Бодуэну, прямо призывая против всякого априоризма при изучении языка: «Изложение дальнейшего морфолого-синтаксического развития [...] должно также опираться как можно более на данные морфологии, а не

быть априорно-философским (выделение наше – Ю. С.)» [Богородицкий, 1939: 204]. В одном из писем Бодуэн, характеризуя свой научный метод, писал: «я придерживался общеметодологических оснований, состоящих в том, что наука должна исследуемый предмет брать таким, каков он есть, не навязывая ему никогда неподходящих к нему категорий» [Бодуэн, 1963а: 37]. И в другом месте: «Все науки, если их приверженцы хотят сделать их строгими, т.е. именно науками, должны основываться на фактах и фактических выводах» [Бодуэн, 1963а: 37]. Таким образом, Бодуэн, отталкиваясь от теорий, построенных на априорных основаниях, выдвигал тезис о необходимости соотнесения теоретических данных со всем корпусом значимых данных опыта (фактуальность методики исследования).

Негативным явлением в методологии тогдашней лингвистики Бодуэн считал индуктивный метод поиска материала. Его следствием учёный считал состояние лингвистики, в котором она является корпусом малоупорядоченного и малопригодного для практического использования материала. Средство избежать такого положения вещей Бодуэн видел в максимальном расширении применения дедуктивного метода, который, по его мнению, позволил бы не только описывать, но и предсказывать изменения языка: «все, однако ж, стремятся к тому, чтобы стать на ту ступень, что математика, или, говоря иначе, добыть себе непоколебимые основания, из которых можно бы выводить явления дедуктивным путем с математической точностью» [Бодуэн, 1963а: 37]. Дедуктивистские идеи Бодуэна ярко проявились во взглядах Богородицкого, который считал одним из основных способов изучения языка сопоставление данных речи нормальных носителей языка с речью детей и лиц с психическими аномалиями, в частности, афазиями [Богородицкий, 1939: 150], проводя сознательный поиск фактов, которые бы могли пролить свет на вопросы языкознания.

Из сказанного видно, что в методическом плане Бодуэн и его ученики прямо настаивали на необходимости применения при изучении языка дедукции как метода поиска материала, отбросив при этом априорные (принципиальные) основания отбора материала и заменив их учётом всех значимых для конкретного вопроса фактов (фактуальность). Это позволяет однозначно квалифицировать их методические представления как функционально-прагматические.

Онтологический статус части речи

Вопрос об определении частей речи для Бодуэна не был ключевым, поэтому его взгляды на эту проблему приходится искать среди его работ по другим вопросам. Недостаток материала по нашему вопросу в трудах самого Бодуэна мы вынуждены восполнять анализом представлений его учеников (в первую очередь проф. В.А. Богородицкого), предполагая, что они в значительной степени соотносятся с взглядами учителя, являясь их систематическим продолжением. При этом приходится учитывать возможность искажения представлений самого Бодуэна, что заставляет

рассматривать взгляды бодуэнистов на проблему части речи сквозь призму методологических воззрений самого Бодуэна.

Мы считаем необходимым рассматривать взгляды Бодуэна на вопрос об онтологическом статусе частей речи в свете его высказывания о том, что «Первым, кардинальным требованием объективного исследования должно быть признано убеждение в безусловной психичности (психологичности) и социальности (социологичности) человеческой речи» [Бодуэн, 1963б: 17], – которое следует признать квинтэссенцией лингвистической концепции Бодуэна. Такое рассмотрение природы языка и его отдельных явлений связано с гносеологической составляющей взглядов Бодуэна. Язык при таком подходе изучается лишь в той степени, в какой он доступен исследователю как человеку, и с этой точки зрения он представляет собой чисто психическое явление: «С позиции говорящего индивидуума язык есть явление насквозь психическое. Основа всех его проявлений исключительно психическая, центрально-мозговая» [Бодуэн, 1963а: 196].

На основании утверждения о психичности языка Бодуэн рассматривает отнесённость слов к определённым языковым классам, считая последнюю результатом субъективной психической деятельности носителей языков: «Каждое субстантивизированное слово было снабжено душой, могло стать 'ангелом', 'заступником', даже 'богом'. Ассоциация представления предмета с представлением его названия повела к созданию психического, идеального эквивалента этого предмета, и этот эквивалент предмета был сочтён за его 'душу'» [Бодуэн, 1963б: 82]. На этом основании логично предположить, что часть речи как отнесённость слова к определённому классу слов являлась для Бодуэна причислением носителями языка денотата слова к определённому классу явлений. Такое причисление полностью семантично для Бодуэна, что заставляет нас остановиться на его трактовке языковой семантики.

Бодуэн выделял два вида семантических представлений: внутриязыковые и внеязыковые. «Внеязыковые, семасиологические представления распадаются на представления: 1) из области физического мира (вместе с миром биологическим); 2) из области мира общественного; 3) из области мира лично-психического. Отражение тех или других замечаемых во внеязыковом мире различий в различениях чисто языковых может служить основанием для сравнительной морфологической характеристики отдельных языковых мышлений. Только для очень незначительной части внеязыковых, семасиологических представлений имеются в языковом мышлении морфологические экспоненты; большая же часть этих внеязыковых представлений составляет по отношению к языку группу так называемых 'скрытых языковых представлений'» [Бодуэн, 1963б: 185–186]. Мы считаем, что для Бодуэна, подобно Потембне, части речи представляли собой такие внеязыковые представления, выраженные грамматическими средствами, т.е. тяготеющие к статусу «скрытых языковых представлений». Мы настаиваем на мысли о том, что частеречное значение для Бодуэна обладало внеязыковой, а именно мыслительной природой, восходя к области

картины мира (важность этого утверждения станет ясна ниже). Высказанный тезис подтверждается словами самого Бодуэна: «Вполне прав проф. Богородицкий, считая части речи 'действительными категориями нашего ума', но при их распределении он смешивает, как это водится, принципы классификации [...]» [Бодуэн, 1963б: 47].

Здесь мы вынуждены перейти к рассмотрению взглядов отдельных бодуэнистов и сопоставлению методологических представлений Бодуэна с взглядами его последователей, выдвинув предварительно гипотезу об их методологической общности и, вследствие этого, принципиальной изоморфности.

Характерной чертой взглядов проф. Богородицкого, как представителя Казанской школы и прямого последователя Бодуэна, является понимание языка как психофизиологической сущности, трактовка слова как «символа для обозначения представлений» [Богородицкий 1935: 96], включенного в процессы речевой деятельности: «Когда происходит обмен мыслями между говорящим и слушающим, то у первого мысль предшествует и вызывает собой произношение слова (символа), а у второго предшествующим является слово (символ), которое и вызывает собою мысль» [Богородицкий 1935: 96]. Такая трактовка речевой деятельности находится в тесной связи с методологическими взглядами Потемби и Бодуэна. Однако чёткого и последовательного развития идея речевой деятельности у Богородицкого не нашла, хотя имплицитно присутствует практически в каждом положении. В связи с имплицитным рассмотрением языка как психического процесса, позволяющего осуществлять обмен информацией между собеседниками с помощью знаков, Богородицкий определяет грамматические категории как «категории нашего ума» [Богородицкий 1935: 96]. Более чётко разграничение мышления и языка осуществляется, как нам кажется, в определении предложения как «факта речи, а не мысли» [Богородицкий 1935: 200].

Рассматривая язык как ментальный феномен, Богородицкий считает грамматические категории и, в частности, части речи как единство значений и форм феноменами психики [Богородицкий, 1939: 147], которые определяют форму слова в речи, выступая по отношению к ней в качестве инварианта. Постоянное проявление таких феноменов в речи позволяет утверждать Богородицкому, что инвариантные категории находятся в системном отношении друг к другу, образуя грамматическую парадигму. Применительно к вопросу о падежах существительных Богородицкий по этому поводу писал: «с каждой падежной формой ассоциируется соответствующее значение, слагающееся из идеи предмета, усложнённой падежным оттенком значения. Следовательно, при произношении разных падежей одного и того же слова повторяется ещё и идея, или представление, одного и того же предмета, усложняющаяся разными падежными оттенками» [Богородицкий, 1939: 149]. Наиболее общими, инвариантными категориями языка по отношению к отдельным грамматическим категориям Богородицкий считал части речи, которые он тоже рассматривал как

универсальные элементы психической реальности носителя языка: «[...] эти категории действительно существуют в уме говорящего и, так или иначе, свойственны всем типам языков на земном шаре» [Богородицкий, 1939: 204].

Проф. Богородицкий различал формальную и содержательную (семасиологическую в его терминах) стороны речевой деятельности. Учёный считает, что семантическая сторона должна отражать: 1) мыслительные категории (части речи), которые закономерно находят своё отражение в члене предложения – элементе, предполагающем свою манифестацию через словоформу; 2) языковой знак служит для организации самого предложения и специализации значения слова, сигнализации его синтаксической позиции (что эксплицируется во флексиях). Итак, часть речи в понимании Богородицкого есть явление семантическое, в первую очередь, и, точнее, семантика его – лексико-синтаксическая. Форма же слова выполняет чисто сигнализирующую функцию по отношению к синтаксической семантике.

Понимая грамматические категории как «категории нашего ума» [Богородицкий 1935: 96], Богородицкий, тем не менее, избегал подробного рассмотрения вопроса об их отношении как языковых категорий к мышлению. В этой связи Богородицкий рассматривал систему частей речи как статичный «ряд готовых словесных категорий, соответствующих нашим представлениям предметов, качеств, действий и пр. и служащих словесным материалом для выражения мысли» [Богородицкий, 1935: 202], что заставляет нас предположить, что онто- и филогенетически язык и мышление для Богородицкого разорваны и находятся в отношении произвольной связи формы и содержания. Такая точка зрения вызвана тем, что Богородицкий, считая грамматические категории семантическим явлением, ограничивал материал для их изучения только данными морфологии [Богородицкий, 1939: 204], отказываясь рассматривать вопрос о влиянии языка на мышление и наоборот. Критикуя взгляды Потебни, Богородицкий посчитал его попытки изучения грамматической семантики на основании изучения строя предложения априоризмом в лингвистике, что привело его самого к неправомерному сужению грамматики и её материала до морфологии (словообразования и словоизменения) слова, сделав утверждение о связи частей речи с категориями мышления практически пустой декларацией.

В бодуэновском ключе к проблеме определения онтологического статуса части речи подходил и акад. Л.В. Щерба в своей классической работе, посвящённой рассмотрению вопроса о частях речи в русском языке. Часть речи для него представляет собой, в первую очередь, не класс слов, выделенных по какому-либо *principium divisionis*, а категорию, существующую в самом языке. Таким образом, части речи как категория слов представлялись Щербе категориями, существующей в языке, а не экстраполяцией на него внеязыковых явлений. Вопрос о частях речи, таким образом, для Щербы состоит в том, «какие общие категории различаются в данной языковой системе» [Щерба, 1957: 64].

Части речи как грамматическое языковое явление, по Щербе, возникают в момент возникновения специфического значения выражаемого ими: «Не видя смысла, нельзя ещё устанавливать формальных признаков, так как неизвестно, значат ли они что-либо, а, следовательно, существуют ли они как таковые, и существует ли сама категория» [Щерба, 1957: 65]. Итак, непременным условием существования в языке части речи как категории для Щербы является наличие специфического частеречного значения. Такое значение, по Щербе, «особенно настойчиво навязывается самой языковой системой» [Щерба, 1957: 64]. В свете высказываний Бодуэна об онтологическом статусе языка рассуждения о «навязывании языковой системой» выглядят несколько странно и, кажется, представляют собой попытку замалчивания вопроса об онтологическом статусе смысла, предполагаая возможность как объективистского, так и менталистского ответа на этот вопрос.

Другим условием существования категории для Щербы является наличие связи между частеречным значением и его формальными признаками или, точнее, целыми комплексами таких признаков. Категория, по Щербе, должна иметь своё внешнее выражение, которым может служить любой признак: от аффикса до синтаксической позиции слова. Учёный настаивал на отсутствии необходимости выделения формальных морфем (флексий) в особую группу, считая, что частеречное значение выражается в языке гораздо более разнообразными наборами средств, чем только окончания флективных языков [Щерба, 1957: 64–66]. Существование «внешних выразителей», как и наличие одного только специфического значения есть условие необходимое, но недостаточное для выделения категории языка. Таким образом, часть речи представляет собой для Щербы знак, состоящий из отношения между значением и формальными выразителями части речи.

Как видим, несмотря на бодуэнистские основания своих взглядов, Щерба, в противовес Богородицкому, старался перенести вопрос об определении частей речи из вопроса по преимуществу методологического в вопрос по преимуществу методический, унавоживая этим почву для затемнения методологических вопросов в отечественном языкознании. Из его взглядов на вопрос онтологического статуса частей речи мы можем удержать как положительное для функционального прагматизма утверждение только мнение о том, что часть речи представляет собой наличие определённого собственно языкового значения, выраженного широчайшим набором средств: от лексических и морфологических до синтаксических [Щерба, 1957: 63–67].

На основании сказанного мы утверждаем, что для Бодуэна вопрос о частях речи сводился к вопросу об их онтологии в связи с онтологическим статусом языка, что находит своё отражение во взглядах Богородицкого. Следствием этого явилось стремление рассматривать части речи как категории, представляющие собой элемент языковой картины мира, находящейся в связи с мыслительной картиной мира. Однако стремление

последователей Бодуэна к «чистоте» лингвистического исследования от спекулятивности (Богородицкий) и психологизма (Щерба) привело к отрыву в их концепциях частей речи от их ментальных оснований (Богородицкий, Щерба) и тяготению к описанию системы частей речи с объективистских позиций (Щерба).

Часть речи как семиотическая функция

Поскольку никаких работ по данному вопросу Бодуэном написано не было, и едва ли не единственным его высказыванием по вопросу о частях речи был уже цитировавшийся отзыв на работу в этой области проф. Богородицкого, мы вынуждены обратиться к взглядам последнего и сравнить их с методологическими взглядами Бодуэна.

Проф. Богородицкий одним из первых предложил рассматривать речевой знак как элемент intersубъективной языковой деятельности. Так, он утверждал, что «предложение является результатом расчленения целостной мысли» по отношению к говорящему и «образованием таковой (целостной мысли – Ю. С.) по отдельным элементам, выраженным членами высказанного предложения» [Богородицкий, 1935: 202–203] по отношению к слушающему. Итак, речевой факт представляет собой элемент в цепочке передачи мысли от говорящего к слушающему. В этой связи Богородицкий высказал мысль о том, что языковой знак как отношение формы к содержанию имеет два направления, в зависимости от роли носителя языка в процессе коммуникации: 1) содержание → форма (говорящий) и 2) форма → содержание (слушающий), однако учёный никак не характеризует эти отношения (функции), и оставил возможность их рассмотрения 1) как двух элементов одного знака, 2) как двух симметричных и 3) полностью различных как по направлению, так и по механизмам [Богородицкий, 1935: 202–203, 206]. Тем не менее, мы должны отметить, что такое представление о языковом знаке необходимо предполагает рассмотрение языкового факта и в семасиологическом, и в ономасиологическом аспектах как коммуникативного по своему назначению явления, имеющего подобные структуры в психиках говорящего и слушающего.

Как мы уже отмечали, Богородицкий, в противовес Потебне и Бодуэну, избегал подробного рассмотрения связи между мыслительной и языковой картинами мира, глядя на язык как на набор маркеров, которые используются в процессе общения для передачи информации. Части речи в этой связи представляют собой для Богородицкого, как мы уже говорили в предыдущем пункте, «готовые словесные категории, соответствующие нашим представлениям» [Богородицкий, 1935: 202]. Такие категории, по Богородицкому, реализуются в предложении как речевом акте. Части речи как инварианты членов предложения представляют собой для Богородицкого переменные специфической «логики предложения», «естественной диалектики» [Богородицкий, 1935: 204–205], которая является продуктом длительного развития языка и мышления [Богородицкий, 1935: 204–205; Богородицкий, 1939: 204–208]. Взгляд на части речи и члены предложе-

ния как на экспликативные такой логики, на наш взгляд, предполагает отождествление мыслительной и языковой картин мира и противоречит собственному взгляду Богородицкого на части речи как на «готовые словесные категории», поскольку предполагает постоянное влияние «естественной логики» на содержательную сторону частей речи.

По нашему убеждению, часть речи как языковой знак для Богородицкого представляет собой коммуникативное по природе отношение значения к определённым классам слов, служащих его экспликативами, которое необходимо рассматривать в семасиологическом и ономазиологическом направлениях, системные отношения которого взаимно детерминированы «естественной диалектикой».

Если для Богородицкого части речи являлись коммуникативными по природе языковым явлением, связь которых с мышлением в его концепции была ослаблена стремлением избежать спекулятивности Потебни, то Л.В. Щерба элиминировал коммуникативный элемент из своих представлений о частях речи, наоборот, акцентируя внимание на соотношении частей речи с их мыслительными основаниями. Как мы уже отмечали, часть речи для Щербы представляет собой по своему онтологическому статусу чисто языковое явление. Однако при определении конкретных частей речи русского языка Щерба удерживает восходящий в отечественной традиции ещё к трудам Потебни взгляд на части речи как на способ экспликации оценки носителем языка статуса денотата слова в картине мира. К такому выводу мы приходим на основании определения значений отдельных частей речи: «Значение этой (части речи – имени существительного – Ю. С.) известно – предметность субстанциональность. При её посредстве мы можем любые лексические значения, и действия, и состояния, и качества, не говоря уже о предметах, представлять как предметы» [Щерба, 1957: 68]; «Значение категории прилагательных в русском языке, конечно, качество [...] Формально они (имена прилагательные – Ю. С.) выражаются, прежде всего, своим отношением к существительному: без существительного явного или подразумеваемого, нет прилагательного» [Щерба, 1957: 70]; «[...] мы имеем здесь дело с особой категорией состояния [...] в отличие от такого же состояния, но представляемого как действие» [Щерба, 1957: 74]. Из приведённых примеров нетрудно сделать вывод о том, что части речи представляют собой для Щербы знак мыслительной оценки места значения слова в классификации феноменов, проводимой в данном языке. Такое представление имеет у Щербы имплицитный характер и вызвано, как нам кажется, влиянием на его взгляды Потебни (через Д.Н. Овсянко-Куликовского, о чём упоминает и сам Щерба [Щерба, 1957: 63]) и Бодуэна (как непосредственного учителя). Новизна взглядов Щербы на фоне его предшественников заключается в постоянном стремлении перевести изучение языковых явлений, в данном случае – частей речи, из плоскости онтологической в плоскость чисто спекулятивно-метафизическую, основывающуюся на представлении об идеальном носителе языка и его языковой системе.

Из сказанного видно, что в концепции Щербы явственно видны следующие черты: 1) ориентация на отражение в классификации собственно языковой структуры, частично, в отношении к её мыслительным основаниям; 2) приоритет содержательного, семиотического аспекта при анализе частей речи. На фоне же стремления редуцировать онтологический подход в исследовании языка, становится понятной наша мысль о том, что в творчестве Щербы явственно наметился отход от ментализма как одной из основ функциональной методологии к метафизике вообще и к реалистической метафизике при рассмотрении частей речи, в частности, что ярко проявилось уже в творчестве позднейших отечественных грамматистов (например, акад. В.В. Виноградова).

Часть речи как грамматическая функция

Вопрос о соотношении лексического и грамматического аспектов понятия части речи Богородицкий решал с точки зрения рассмотрения генезиса грамматических категорий и частей речи как пучков таких категорий в индоевропейских языках. Богородицкий выделяет несколько стадий (эпох) развития частей речи в связи с развитием строя предложения. Первая эпоха «имени-глагола и последующей дифференциации на имя и глагол» [Богородицкий, 1939: 205] характеризуется у Богородицкого отсутствием всяких частей речи. Слово при таком строе языка может выступать в качестве целого предложения либо, с началом дифференциации имени и глагола, выступать в любой синтаксической позиции и в ней приобретать специфические семантические признаки имени или глагола. Слово, таким образом, потенциально обладало всем спектром грамматических значений, существовавших в языке, что равносильно отсутствию их у слова и наличию лишь у словоформы. Частей речи при таком строе ещё не существовало, либо они находились в эмбриональном состоянии, обозначая «предмет в его качестве» [Богородицкий, 1939: 205]. Примером такого языка Богородицкий считал китайский, в котором он не усматривал частеречного деления.

Эпоху имени-глагола сменила вторая эпоха имени и местоимения, характеризующаяся возникновением лично-указательных и вопросительных местоимений, имеющих первообразные корни и флексии. Богородицкий при этом никак не характеризует особенности грамматической семантики, присущей данной стадии, считая основанием для её выделения только наличие специфических формантов местоимений, противопоставляющих их имени-глаголу.

Третьей стадией образования частей речи Богородицкий считал возникновение внутри уже обособившегося формально от глагола имени противопоставления между существительным и прилагательным. На этой стадии прилагательные подобно существительным утрачивают свою неизменяемость и начинают согласовываться в некоторых грамматических категориях с последними [Богородицкий, 1939: 206]. Возникновение такого согласования Богородицкий связывает с закреплением за словами,

ставшими прилагательными, значения определения существительного [Богородицкий, 1939: 206]. Следствием этой стадии Богородицкий считал возникновение предложения с именным сказуемым и глаголом существования.

Четвёртой стадией становления частей речи Богородицкий считал возникновение наречий и переход некоторых из них в союзы, который происходил из употребления прилагательных в качестве атрибутов глаголов и закрепления такого употребления в морфологии слова. Наречия при таком понимании становятся для Богородицкого частью речи, изоморфной по своей семантике прилагательным, но отличными от них по своей синтаксической функции. Как определения глагола (действия) наречия при соотнесении с существительными, по Богородицкому, становились предложениями, приобретаая значения падежных форм [Богородицкий, 1939: 206, 207]. Пятым, заключительным, этапом формирования индоевропейской системы частей речи Богородицкий считал формирование причастий как категории, представляющей собой прилагательные, образованные от глаголов [Богородицкий, 1939: 207, 208].

Таким образом, Богородицкий рассматривал части речи как классы слов, за которыми закрепилось определённое синтаксическое употребление, что нашло своё отражение в их морфологической структуре. При таком подходе морфология слова рассматривается как рефлекс предыдущих состояний синтаксического строя языка. Взгляд на причастия как на отглагольные прилагательные заставляет думать, что Богородицкий всё же усматривал в частях речи категориальное значение, а не просто набор грамматических или синтаксических (как это было с прилагательными в противопоставлении их существительным) категорий и их выразителей, поскольку иначе глагол, приняв на себя грамматические значения и формы прилагательных, должен бы был полностью слиться с ними.

На наш взгляд, имплицитное противопоставление имени и глагола было навязано Богородицкому объектом исследования и, в частности, вопросом о причинах различения в языке прилагательного и причастия. В то же время, вопрос о соотношении семантики местоимений и существительных Богородицкий свёл просто к морфологическим отличиям в структуре слов. Это позволяет нам высказать мысль об элементах реалистского (в данном случае – формального) взгляда на части речи как языковое явление у Богородицкого, что связано со стремлением избежать от «философского априоризма» Потебни. Мы считаем, что декларировавшееся стремление к апостериорности исследования в данном случае Богородицкий спутал в практике исследования частей речи с редукцией онтологического момента в рассмотрении грамматической природы частей речи до рассмотрения их как набора грамматических форм. Рудиментарные же представления о семантике частей речи (противопоставление причастия и прилагательного) в концепции Богородицкого мы относим к попыткам согласовать некоторые элементы своей теории с фактами языка. За это выступает никак не объясненное Богородицким, носящее констатирующий характер, заме-

чение о том, что «благодаря переходу от синтетизма к аналитизму, развившаяся формальная сложность в этих языках преобразуется в направлении большей простоты» [Богородицкий, 1939: 208].

При решении вопроса о частях речи у акад. Щербы центральным становится понятие грамматических категорий, определённая комбинация которых представляет собой категорию более высокого порядка. Эта «суперкатегория» и уравнивается учёным с частью речи. Очевидно, что при таком понимании признаками части речи могут выступать лишь релевантные в данном языке признаки слов. Резко полемизируя с представителями формальной школы, Щерба, как отмечалось, отрицал ценность любой классификации слов, кроме той, которая «навязывается» самим языком: «исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по какому-либо учёным и очень умным, но предвзятым признакам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой, или точнее, – ибо дело вовсе не в ‘классификации’, – под какую общую категорию подводится то или иное лексическое значение в каждом конкретном случае» [Щерба, 1957: 64]. Поскольку в вопросе о частях речи мы имеем дело не с классификацией, слово, по Щербе, может одновременно попадать в разные категории. Таковы, по Щербе, причастия (глагол и прилагательное), знаменательные связки (связка и залоговая форма глагола). Более того, слова могут на этом фоне вовсе выпасть из системы частей речи (напр. вводные слова, которые не составляют категории из-за «отсутствия соотносительности»). Как видно из сказанного, части речи представляют собой для Щербы «пучки грамматических значений», по меткому определению А.Е. Супруна [Супрун, 1971: 40], в которых некоторые элементы частеречного значения могут и не быть формально эксплицированы.

Внутри системы частей речи существуют, по Щербе, определённые противопоставления, которые делают её собственно системой. Категории, не противопоставленные другим категориям, выпадают из системы. Основной такой системы Щерба видел грамматическую категорию, которую он рассматривает как единство «её смысла и всех её формальных признаков». Грамматическая категория, по Щербе, может иметь несколько формальных выразителей, следствием чего является утверждение Щербы о том, что «материально одно и то же слово может фигурировать в разных категориях» [Щерба, 1957: 65]. Такая точка зрения заставляет предположить, что Щербе не чуждо было представление о невозможности полисемии, по крайней мере, грамматической, что заставляет рассматривать его трактовку грамматической категории как представление о семантическом языковом явлении, непременно имеющем формальное (фонетическое, лексическое, морфологическое, синтаксическое) выражение [Щерба, 1957: 64].

На этом основании, мы утверждаем, что часть речи в концепции Щербы может быть представлена как оппозиционно противопоставленная другим типичная инвариантная группировка грамматических значений слов, тесно связанная со словообразовательными и синтаксическими яв-

лениями языка. Такие категории непременно должны, по Щербе, эксплицироваться морфологически, что является непременным условием их существования. К сожалению, на этом заканчивается всё, что на основании работ Щербы можно однозначно сказать о методологических основаниях его представлений о грамматических категориях и формах слов, которое, по справедливому утверждению, ещё требует «уточнения понятия» [Супрун, 1971: 41].

Часть речи в системе внутренней формы языка

Проф. Богородицкий предложил оригинальную систему частей речи, которая во многом сходна с идеями Отто Есперсена [Есперсен, 1958]. Суть её заключается в постулировании двух параллельных рядов частей речи, обслуживающих имя существительное и глагол соответственно в их синтаксических позициях в предложении. Так, соотнесены между собой прилагательные и наречия как выразители атрибутов имени и глагола соответственно. В то же время учёному не удалось освободиться от традиций школьной грамматики, с её терминологией и методикой выделения частей речи одновременно по разным признакам (ошибка смешения принципов деления). Именно за это критиковал Богородицкого Бодуэн [Бодуэн, 1963б: 43, 46–49].

В основе этой системы Богородицкий видел, как мы говорили, синтаксические категории, нашедшие своё воплощение в морфологической структуре слова индоевропейских языков. Так, вся лексика у него подразделялась на 1) слова с самостоятельным собственным и 2) слова с несамостоятельным собственным значениями. К первым относились существительное, личное местоимение (склоняющиеся «для показания отношения предметов к действиям» [Богородицкий, 1935: 105]) и глагол (спрягающийся «для показания действия к подлежащему известного лица и числа» [Богородицкий, 1935: 105]), семантика которых сводилась, как видим, к потенциальной синтаксической позиции слова. Ко вторым Богородицкий отнёс слова, потенциально синтаксически подчинённые существительному или глаголу: 1) «части речи, являющиеся придаточными к существительному» [Богородицкий, 1935: 105] а) прилагательные, б) числительные, в) определённо-указательные местоимения; 2) являющиеся придаточными по отношению к глаголу, а именно наречие. Переходные явления между двумя классами несамостоятельных, по Богородицкому, слов составляли причастия и деепричастия. Как видим, в основе определения семантики частей речи для Богородицкого лежало их потенциальное синтаксическое значение либо отношение к другим членам предложения. Такое значение, по Богородицкому, эксплицируется в речи формами парадигмы слова, которая также определялась, согласно мысли учёного, историей синтаксиса индоевропейских языков.

Все изложенное позволяет нам утверждать, что в основе представления Богородицкого о частях речи лежала идея о синтаксической природе частей речи как в семантическом, так и в морфологическом отношениях. Та-

кая точка зрения несколько противоречит собственным высказываниям Богородицкого о частях речи как о категориях человеческого ума и отражает заметный, хоть и небольшой, дрейф учёного от ментализма в онтологической оценке языковых фактов, присущего Бодуэну, к объективизму.

Итак, взгляды А.А. Потебни необходимо квалифицировать как антропоцентрически-реляционистские в онтологическом плане и апостериорно-субъективистские (прагматические) в гносеологическом плане, что позволяет говорить о лингвистической концепции Потебни как о собственно функционалистской с точки зрения её философских оснований. Однако мы не можем со всей ответственностью утверждать то же в отношении методики исследования языка у Потебни. Тем не менее, такое положение вещей делает Потебню одним из первых представителей функционализма как методологической парадигмы русской лингвистики 2-ой половины XIX века.

Взгляды Бодуэна можно однозначно квалифицировать как ментально-реляционистские, в плане онтологии (психологизм, функционально-слитый с социологизмом), субъективистски-апостериорные (прагматические), в плане гносеологии и как дедуктивистски-фактуальные, в плане методики. Определённое тяготение Бодуэна к рассмотрению языка как физиологического процесса позволяет видеть в его трудах рефлексы позитивизма как методологической парадигмы. Однако, несмотря на это, взгляды И.А. Бодуэна де Куртенэ представляют собой первую законченную методологию, построенную на основании функционализма в онтологическом, гносеологическом и методическом планах.

В методологических представлениях Потебни и Бодуэна прослеживается изоморфизм в онтологическом и гносеологическом аспектах, позволяющий характеризовать обоих исследователей как первых в отечественном языкознании представителей функционально-прагматической методологии. Мы затрудняемся судить о методическом компоненте методологии Потебни, который, в противовес Бодуэну, не оставил достоверных свидетельств о своих методических взглядах, а анализ его работ может равно привести как к утверждению о функциональности его методики, так и к утверждению о её нефункциональности в зависимости от установки исследователя. Однако в любом случае, хоть Потебня и Бодуэн относятся к разным школам отечественной лингвистики, их можно рассматривать как представителей одной методологической парадигмы.

В вопросе об определении понятия «части речи» Потебню и Бодуэна (на основании немногочисленных его высказываний по данному вопросу) можно признать последовательными функционалистами, что подтверждается принципиальной изоморфностью понятия части речи, данного А.А. Потебнёй, выведенному нами дедуктивно на основании положений функционально-прагматической методологии определению части речи. В противовес им, ученики Бодуэна Щерба и Богородицкий уже тяготели

к методологической метафизике при определении понятия части речи, предпосылки чему мы видим частично в некоторых высказываниях Бодуэна, несколько сближающих его методологическую установку с реалистическим позитивизмом. Такая оценка методологических взглядов Щербы и Богородицкого позволяет объяснить, почему русистика, имея в прошлом довольно мощный функционалистский методологический потенциал (Потебня, Бодуэн, Крушевский), не смогла противостоять в предвоенные и послевоенные годы бурному развитию в советской лингвистике метафизической методологии: причиной такого процесса явился дрейф от ментализма к реализму среди самих последователей Бодуэна.

**«НОВОЕ УЧЕНИЕ О ЯЗЫКЕ» Н.Я. МАРРА,
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЕГО
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ
МЕТОДОЛОГИИ**

«Новое учение» о языке, разработанное Н.Я. Марром, вряд ли можно признать собственно лингвистической концепцией. Скорее, это довольно пёстрый конгломерат интуитивных прозрений, а часто и граничащих с фантазиями чистых спекуляций Н.Я. Марра. В этой связи построения Н.Я. Марра было бы лучше отнести не к собственно лингвистическим теориям, а к лингвофилософским концепциям. Однако концепция Марра всё же должна стать объектом пристального внимания данной работы. Это связано с тем, что Марру удалось собрать довольно большую группу учеников, взгляды которых, невзирая на все исторические перипетии, до сих пор в значительной мере определяют направление исследований в русской грамматической науке. Мы, в частности, попытаемся показать, что построения Марра имеют непосредственное отношение к функционалистской методологии в отечественной лингвистике.

Как известно, «новое учение о языке» под влиянием статей И.В. Сталина о языкознании было в 1950 г. подвергнуто сокрушительной и, подчас, не совсем объективной критике. Однако ни исторический фон, ни политические предпосылки возникновения, развития и «развенчания» концепции Марра и его последователей, ни мотивы критики со стороны оппонентов этой концепции или нюансы спора между марристами и представителями традиционного языкознания не являются объектом данной работы (эти вопросы уже освещены в литературе [Горбаневский, 1991, Чикобава, 1985]). Особенно подробно обсуждались в литературе, появившейся после известной дискуссии по вопросам языкознания в газете «Правда», недостатки и просчёты марристского языкознания. С тех пор марризм в советской (да и постсоветской) лингвистической традиции понимается как своего рода лингвистическая евгеника. Так, в литературе встречаются высказывания о том, что марризм отбил у советских лингвистов интерес к проблемам происхождения языка [Николаева, 1996: 87]. Среди недостатков теории Марра и его последователей в литературе отмечалась её научная бездоказательность, стремление использовать гипотетическую хронологию, слабая привязка к данной истории языков и другие. Поскольку имеется довольно обширная, хоть и не всегда объективная, литература, посвящённая собственно анализу положений и критике рассматриваемого направления (см., например, [Аванесов, 1951; Бернштейн, 1952; Виноградов, 1951; Виноградов, 1964; Виноградов, 1990; Галкина-Федорук, 1952; 1951; Горнунг, 1952; Десницкая, 1951; Дешириев, 1952; Звегинцев, выступлений, 1964; Кварцелия, 1952; Кузнецов, 1952; Куськиан,

1952; Левин, 1951; Левковская, 1951; Леонтьев, 1990; Михайлов, 1952; Орлова, 1951; Пиотровский, 1964; Поливанов, 1991; Поспелов, 1951; Рогава, 1951; Серебренников, 1952; Серебренников, 1964; Суник, 1952; Сухотин, 1951; Черкасова, 1951; Шапиро, 1952; Шарадзенидзе, 1952; Шведова, 1951; Шишмарев, 1951; Ярцева, 1952)), мы, чтобы не повторять уже сказанное, сконцентрируем внимание в первую очередь на положительных, с нашей точки зрения, чертах марризма. Мы не будем останавливаться на почти бесконечном числе положений, которые Марр сначала выдвинул, а затем сам же и опроверг, как, например, гипотеза о переселении яфетидов и расселении их по материкам Афроевразии. Уже ближайший ученик Марра И.И. Мещанинов отмечал, что многие «просто неверные, а иногда, в других случаях, спорные места отнюдь не характеризуют основной концепции Н.Я. Марра» [Мещанинов, 1940: 12]. В том же духе оценивал некоторые высказывания Н.Я. Марра и проф. Н. Чемоданов [Чемоданов, 1950]. Сам Н.Я. Марр в этой связи писал, что «нельзя удовлетвориться прочтением той или иной яфетидологической работы [...] без учёта того, что восполнялось, осложнялось, уточнялось или исправлялось, равно без учёта того, что заменялось и отсекалось в последующих работах на дальнейших этапах развития теории» [Марр, 1933, II: 222]. Несмотря на отмеченную даже самим Марром неоднозначность «нового учения о языке», нам кажется, что существует необходимость теоретико-методологического осмысления лингвистических построений Н.Я. Марра и его последователей. Нас интересуют собственно методологические основания построений Н.Я. Марра и уже в их свете грамматические концепции его последователей. В этой связи мы должны отметить, что до нас этот вопрос в литературе разрабатывался либо тенденциозно в свете работ И.В. Сталина, либо не разрабатывался вовсе. Исключением в данном случае может быть назван доклад Е.Д. Поливанова, прочитанный в 1929 г. в Коммунистической академии [Поливанов, 1991: 508–560], который, однако, был посвящён преимущественно критике отдельных частных положений теории Марра и его способов отбора материала.

Не относя себя к последователям или апологетам марризма, мы, однако, считаем, что как труды самого Н.Я. Марра, так и работы его учеников представляют собой обширный и совершенно незаслуженно забытый теоретический пласт, имеющий большое значение для понимания многих грамматических и методологических вопросов. Таким образом, в фокусе внимания этой главы найдется методологические основания грамматических представлений последователей Н.Я. Марра, рассматриваемые на основании изучения методологических представлений их учителя.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПОСТРОЕНИЯХ Н.Я. МАРА КАК ОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ИЗ ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Лингвистические взгляды Н.Я. Марра достаточно сложно отнести к какому-то конкретному методологическому направлению, поскольку, на наш взгляд, в формировании этой концепции сыграли роль кроме соб-

твенно научных ещё и идеологические предпосылки, а иногда и чисто человеческий фактор. Нельзя сбрасывать со счетов неоднозначную фигуру самого Марра, чья научная деятельность, по замечанию В.А. Звегинцева, с годами «приобретала всё более очевидный патологический характер, чего, следуя утвердившейся инерции, старались не замечать или как-то обходить» (цит. по [Горбаневский, 1991: 55]). Поэтому мы остановимся на вычленении и рассмотрении тех моментов в построениях Марра, которые, на наш взгляд, создали предпосылки для дальнейшего развития функциональной методологии в русской лингвистике. Принято считать, что построения Марра были практически полностью оригинальными. И.И. Мещанинов в этой связи писал: «Н.Я. Марр даже в начальные годы своей исследовательской работы шёл своим путём, не позволявшим ему довольствоваться узкими рамками школы младограмматиков, воспитанником коей он являлся. [...] Он искал новых путей к разрешению вставших перед ним вопросов и, не найдя на них удовлетворяющего его ответа в имеющейся литературе, сам искал выхода» [Мещанинов, 1940: 10]. В наше время недостатки, которые усматривают в концепции учёного, объясняют политической конъюнктурой и особенностями личности самого Н.Я. Марра (ср., например, приведённое выше высказывание Звегинцева, [Абаев, 1965]) либо не объясняют вовсе [Леонтьев, 1990].

Мы думаем, что связывать все положения Марра только с особенностями его психики и политической конъюнктурой, считая «новое учение о языке» абсолютно оригинальным, не совсем корректно. Напротив, многие положения Марра подготовлены предыдущим развитием философии и лингвистики. Так, характеризуя истоки философских взглядов Марра, А.В. Десницкая справедливо указывала, что на учёного большое влияние произвели работы Смайльса («Самодетельность»), Спенсера, Кассирера, Леви-Брюля [Десницкая 1951: 31]. Большое влияние на формирование научных взглядов Марра оказали акад. Веселовский, с которым Марр был связан в своей работе, и социологические концепции акад. Покровского [Десницкая 1951: 31]. Сравнивая взгляды Марра и А.А. Потебни, Галкина-Федорук пришла к выводу о том, что Марр разделял взгляды Потебни, в том числе и на проблему частей речи [Галкина-Федорук, 1952: 374].

По мнению В.В. Виноградова, в основе построений Марра лежала биологическая теория мутаций Хуго Де Фриза [Виноградов 1951: 77] и, из марксистских философов, работы А.М. Деборина, в частности В.В. Виноградов указывает на одну из работ А.М. Деборина [Деборин, 1935]. Мы полагаем, что такая оценка В.В. Виноградова не совсем корректна, поскольку данная работа А.М. Деборина появилась как отклик на вполне оформившиеся взгляды Н.Я. Марра. Достаточно даже поверхностного с нею знакомства, чтобы сделать вывод о том, что сам А.М. Деборин в этой своей работе находился под влиянием взглядов Марра и исследовал их философскую составляющую. Кроме прочего, в данной работе Деборин ярко иллюстрирует параллели между взглядом И. Канта на идеи как на инструмент, имеющий для человека практическую ценность, высказанную им в работе «Антро-

пология с прагматической точки зрения» [Кант, 1999], и взглядом Марра на язык как на инструмент общения, созданный индивидом мышлением под влиянием социологических факторов [Деборин, 1935: 7–8, 55–57]. Так, Деборин подчёркивает деятельность и коммуникативную составляющие в представлениях о языке Марра, что уже само по себе наводит на мысль о тяготении последнего в функционально-прагматистской методологии. Основным отличием между Кантовым взглядом на смысл как на «полезную идею» и Марровой концепцией языка является упор последнего на филогенетические аспекты языкознания, в то время как первому был чужд онтологический историзм. Таким образом, мы считаем, что А.М. Деборин не является философским предшественником акад. Марра, хотя указанная его работа не оставляет сомнения в связи представлений Марра с взглядами позднего И. Канта и позволяет связать марризм с прагматизмом У. Джемса.

В то же время, никто из критиков Н.Я. Марра не обратил внимания на связь его взглядов с идеями Г.В. Плеханова, который, на наш взгляд, оказал непосредственное влияние на становление методологических взглядов Марра и его последователей. В доказательство данного утверждения мы, несколько отвлекаясь от темы данного исследования, можем привести цитату из наследия Г.В. Плеханова, которая недвусмысленно демонстрирует истоки доктрины Н.Я. Марра: «Если бы мы захотели кратко выразить взгляд Маркса–Энгельса на отношение знаменитого теперь ‘основания’ к не менее знаменитой надстройке, то у нас получилось бы вот что: 1) состояние производительных сил; 2) обусловленные им экономические отношения; 3) социально-политический строй, выросший на данной экономической основе; 4) определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем высшим над ней социально-политическим строем психика общественного человека; 5) различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики» [Плеханов, 1958: 179–180]. К сожалению, нам не удалось найти ни единого упоминания даже имени Плеханова ни в работах сторонников, ни в работах критиков Марра (за исключением единственного упоминания рядом с такими одиозными фигурами для официоза середины минувшего XX века, как Богданов и Бухарин; данное упоминание приведено в опубликованных незаконченных черновиках самого Н.Я. Марра [Марр, 1936: 114]), что, кажется, объясняется достаточно двусмысленной оценкой деятельности Плеханова в официальной советской философии, вызванной нелестным отзывом о гносеологии Плеханова со стороны В.И. Ленина в его работе «Материализм и эмпириокритицизм» [Ленин, 1976: 244–251]. Мы вынуждены признать оценку Ленина справедливой, поскольку, по справедливому замечанию о. Василия (Зеньковского), Плеханов, действительно, был не так уж далёк в своей гносеологии от Канта, как этого хотелось бы официальной советской философии, «приближаясь к позиции гносеологического идеализма» [Зеньковский, 1991: 40]: «Кто говорит, что предметы (или вещи) в себе воздействуют на нас, – писал Г.В. Плеханов, – говорит, что он знает некоторые из отношений этих предме-

тов, если не между собой, то, по крайней мере, между ними, с одной стороны, и нами – с другой. Но если мы знаем отношения, существующие между нами и вещами в себе, мы знаем также, – при посредстве нашей способности восприятия, – отношения, между самими предметами», – и далее: «сущность материи для нас непонятна, мы постигаем её только сообразно её воздействию на нас» [Плеханов, 1956: 340]. Косвенным доказательством влияния взглядов Г.В. Плеханова на идеи Марра является критика построений последнего оппонентами, которая повторяет ссылки практически на всех учёных, перечисленных в работе Плеханова, однако не упоминает самого Плеханова (ср., например, критику В.В. Виноградова в адрес Н.Я. Марра за использование идей Г. Де Фриза о революционном характере эволюции, [Виноградов, 1951: 77] и обсуждение идей Де Фриза Г.В. Плехановым [Плеханов, 1958: 149–150], который видел в теории Де Фриза подтверждение идей К. Маркса). Мы склонны предполагать на этом основании, что, по крайней мере, некоторые критики Марра, в частности В.В. Виноградов, чётко представляли степень соответствия марризма марксизму (в его плехановском варианте) и их совместного несоответствия своим лингвистическим взглядам, однако на основании господствовавшей именно двусмысленной оценки наследия Плеханова решились указать на действительные корни марризма лишь намёками. Такое положение дел, на наш взгляд, может служить лишним доказательством утверждения о том, что марризм был значительно ближе к плехановскому марксизму как философии, чем положения его критиков во главе с И.В. Сталиным.

Итак, мы утверждаем, что круг влияний, в котором формировалась концепция учёного, был марксистским с налётом кантианства в гносеологии, что, на наш взгляд, сыграло позитивную роль в развитии взглядов последователей Марра даже в период после 1950 г. Однако, мы не можем полностью согласиться с оценкой философских истоков построений Марра. Возведение взглядов Марра только к кантианским и неокантианским философским (Э. Кассирер) или лингвистическим (А.А. Потебня) концепциям в работах многих критиков марризма не совсем корректно, поскольку в противовес кантианству как менталистскому течению в построениях Марра под влиянием идей Плеханова присутствует ярко выраженный социо-метафизический аспект, а именно гипостазирование онтологической сущности общества. Для выяснения данного вопроса остановимся на рассмотрении построений Марра.

В 1924 г. Марр писал: «Индоевропейские языки составляют особую семью, но не расовую, а как порождение особой степени, более сложной, скрещённой, вызванной переворотом в общественности в зависимости от новых форм производства» [Марр, 1933, II: 185]. Тогда, по справедливому мнению И.И. Мещанинова [Мещанинов, 1940], произошёл коренной сдвиг во взглядах Марра. В 1924 г. Марр впервые высказал мысль о том, что история языка есть не развитие и изменение языков, происходящих от одного праязыка, а однонаправленное развитие грамматических строев разных языков, которое обусловлено спецификой общественного мышле-

ния. Таким образом, если традиционная лингвистика рассматривала историю языка как историю нации, а историю языковой семьи как историю расы, то Марр выдвинул идею о языке как об отражении общественной формации, рассматривая историю языка как историю смены типов мышления. И тот и другой подходы, на наш взгляд, не собственно лингвистические, а, скорее, лингвофилософские. Язык рассматривается Марром как онтологическая черта человека и человеческого общества. Считая язык не изобретением какой-нибудь расы, разнесённым потом по всему миру, Марр утверждал, что язык есть продукт мыслительной деятельности любого человеческого сообщества [Марр, 1937, IV: 60]. Постоянное и повсеместное создание и совершенствование в человеческом обществе языка на основе мышления получило у Марра название «глотогонического процесса». Проблема возникновения и изменения языка закономерно поставила перед Марром вопрос об отношении языка и мышления. «Проблема о мышлении – это одна из величайших, если не самая великая теоретическая проблема в мире», – писал Н.Я. Марр [Марр, 1933, II: 434]. «Становясь на почву марксистского языкознания, Марр признаёт, что язык и мышление, следовательно логические категории и грамматические, каждое имеет своё собственное движение, но в известной обусловленности, выражающейся в том, что объективная действительность в её общественном восприятии отражается в языке через мышление» [Мещанинов, 1940: 15]. Решить вопрос об отношении языка и мышления по мысли Марра должна была концепция стадильности. Марр ввёл в свою концепцию языка ещё социальный фактор, причём социальный фактор стал у Марра определяющим по отношению к мышлению, а мышление непосредственно детерминировало у Марра язык, его грамматический строй. «Новое учение о языке, – писал Н.Я. Марр – в первую очередь ставит вопрос об этих стадильных сменах техники мышления и разрешает положительным разъяснением мышление, предшествовавшее логическому, так называемое дологическое, как ряд ступеней со сменой закономерностей и техники» [Марр, 1934: 106]. Поскольку согласно господствовавшим в то время социологическим представлениям социальное развитие происходит поступательное и объективизируется сменой общественных формаций, Марр считал, что социальная эволюция сопровождается эволюцией мыслительной. «Тем самым устанавливается связь и зависимость развития языка от развития мышления. Последнее не стабильно, оно как создание человеческого общества изменяется соответственно идущим сменам в производственной деятельности и общественном строе, что и получает своё отражение в языковой структуре», – писал И.И. Мещанинов [Мещанинов, 1940: 16], удачно характеризуя лингвистическую концепцию Марра. Приведённое выше высказывание И.И. Мещанинова чётко очерчивает онтологию языка и её отношение к социуму в концепции Марра как функцию мышления. Таким образом, в фокусе внимания Марра и основанного им направления оказались вопросы онтологического статуса языка, мышления и их соотношения.

Важнейшим моментом для понимания построений Марра и работ его последователей является трактовка движителей развития языка. «Сосредотачивая всё своё внимание на внутренних причинах творческого процесса в развитии речи, мы отнюдь не можем процесс этот поместить в самом языке», – писал Н.Я. Марр [Марр, 1936: 107]. Это высказывание мы не можем интерпретировать иначе, как в смысле противопоставления языка мышлению, или, по крайней мере, в смысле их радикального различия. Язык при таком понимании становится продуктом мышления, имеющим определённое назначение, то есть Марр понимает язык как инструмент мышления, постоянно совершенствуемый разумом способ самого разума воздействовать на свой объект (например, в процессе труда или в магическом действе – см. ниже). Такая трактовка языка, на наш взгляд, создала предпосылки для преодоления марризмом тенденции к определению языка как реального (в смысле онтологического реализма) объективного феномена. Таким образом, Марр отошёл от свойственного многим лингвистическим концепциям субстанционального понимания языка и вплотную приблизился к его функциональному пониманию.

В центре внимания исследователя при таком подходе неизбежно должна была стать внеязыковая семантика как основание существования языка. Таковую семантику Н.Я. Марр называл «идеологией языка». Язык же становится просто способом выражения (функцией экспликации) «идеологии», лежащей в основании всей деятельности человека. С.Д. Кацнельсон подчёркивал, что, по Марру, «раскрытие идеологической или, иначе, смысловой структуры слова, обусловленной определённым уровнем общественного развития, составляет одну из важнейших основ грамматического анализа» [Кацнельсон 1949, I: 57–58]. Как справедливо отмечает В.Н. Ярцева, «грамматические категории интересовали Н.Я. Марра лишь постольку, поскольку он находил в них категории ‘чистой’ мысли» [Ярцева, 1952: 359]. Итак, в центре внимания Марра лежали внеязыковые мыслительные категории, которые находят своё отражение в языке. Такой интерес именно к «чистой мысли» указывает на неокантианские основания взглядов Марра. В то же время теории Марра не чужды и элементы марксизма с его социально-реалистической трактовкой феноменов (в т.ч. и смысловых), поскольку важным для концепции учёного является утверждение изменчивости, тотальной социальной детерминированности категорий мышления. Однако здесь следует напомнить о тяготении Марра к рассмотрению процессов языкового мышления, которое сближало его с менталистской методологией.

А.В. Десницкая так излагает теорию Марра о происхождении языка: «первичная речь человечества была не звуковой, а ‘ручной’, или ‘линейной’, или ‘кинетической’ (язык жестов). Ей соответствовало и особое, ‘ручное’ мышление. Звуковая речь возникает, по мнению Н.Я. Марра, уже на очень позднем этапе развития человечества, в эпоху верхнего палеолита. При этом Н.Я. Марр считал, что звуковая речь возникла как ‘средство производства’ в ‘труд-магическом’ действе. [...] Первые элементы звуковой

речи Н.Я. Марр считал возникшими из нечленораздельных выкриков. [...] основываясь на своей идеалистической концепции стадий первобытного мышления, Марр относит возникновение звуковой речи к периоду смены 'тотемического мышления' 'космическим'» [Десницкая 1951: 35]. Той же точки зрения в оценке построений Н.Я. Марра придерживался и В.В. Виноградов [Виноградов 1951]. Мы в основном согласны с изложением Десницкой, считая его верно отражающим основные черты концепции Марра, однако заметим, что оценка данной концепции как идеалистической несколько проблематична и продиктована соображениями, скорее всего, идеологического характера.

Истоки языка, по Марру, лежат не в потребности в общении, а в обрядовой деятельности и в возникновении в мышлении людей способности начинать словом факты их жизни, мышление, тем самым, становится предикатом бытия как субъекта (ср. [Плеханов, 1958: 132–133]). Такая точка зрения во многом сближается с взглядами Л.С. Выготского на формирование языка и речи (как это отмечал сам Л.С. Выготский [Выготский, 1999: 140]), то есть, подтверждается фактами других наук. Нельзя не отметить того факта, что концепция Марра и сейчас не утратила своей актуальности в некоторых областях филологии, например, она представляется небезытересной с точки зрения исследований языка доисторической эпохи, проводящихся на Западе [Николаева, 1996].

Одна из главных методологических ошибок Марра и его последователей, на наш взгляд, кроется не в их лингвистических посылках, согласно которым язык детерминирован мышлением, но, скорее, в их онтологических и социопсихологических воззрениях. Действительно, высказывания Марра и его последователей, характеризующие отношения мышления и социальной деятельности, можно признать спорными. Однако это не компрометирует тезиса о связи языка и мышления как о функционально-прагматической. Следует отметить, что идея Марра о целесообразной детерминированности языка мышлением, подвергшаяся жёсткой критике в 1950 г. не тождественна утверждению изоморфизма языка и мышления. Скорее, проблематичной в построениях Марра является идея жёсткого и одностороннего детерминирования языка мышлением, а мышления – производственной деятельностью. Эта идея практически без изменений была заимствована Марром из работы Г.В. Плеханова «Основные вопросы марксизма» [Плеханов, 1958]. Именно на основании указанной работы, на наш взгляд, Марр поставил в прямую зависимость идеологию от психики отдельного человека, а эту последнюю – в зависимость от социально-политических отношений, детерминированных экономическими отношениями. В то же время мы не можем не отметить того, что идея Плеханова о детерминированности идеологии психикой на фоне его идеалистических гносеологических представлений оставила последователям Марра в рассмотрении онтологии языка лазейку в психологизм и субъективизм (в части определения психики отдельного человека как основания для идеологии), которой они, часто несознательно, пользовались под влиянием психолингвист-

тических [Физер, 1993] работ А.А. Потебни и социально-психологической школы Бодуэна де Куртенэ (напомним, что марристы активно изучали наследию А.А. Потебни, им мы обязаны и изданием IV-го тома «Из записок по русской грамматике», а Л.В. Щерба до конца своих дней был активным сотрудником созданного Марром Института языка и мышления). Такая ситуация, кажется, обусловлена не личными пристрастиями Н.Я. Марра, а, скорее, «духом времени»: те же онтологические идеи Г.В. Плеханова активно использовал и Л.С. Выготский в своей психологической концепции [Выготский, 1982: 10–23; Выготский, 1986: 19–40].

Именно в направлении от идеи жёсткой детерминированности языка мышлением при сохранении идеи об их связи лежали основные пути развития марристовского языкознания в 30-е и 40-е годы минувшего века. И это сыграло положительную познавательную роль: «Признание, что формы хозяйства и общественный строй отражаются в языке через мышление, поставило задачу точнее установить, что собою представляет поступательное движение в развитии самого мышления» [Мещанинов, 1940: 15]. Вообще, центральное место в методологических представлениях марристов занимала идея об онтологической реальности общества и находящаяся с нею в тесной связи идея о непосредственной детерминантной связи общественной формации и таких психосоциальных явлений как мышление и язык. Отталкиваясь от весьма плодотворной идеи функциональной связи языка, мышления (психической деятельности) и общественной деятельности, ни Марр, ни марристы, в силу своего «остаточного» реализма, не могли последовательно и окончательно оформить эти онтологические представления в виде функциональной теории языка. Но они оказали существенное влияние на формирование функционализма как самостоятельной методологии в отечественной (советской и постсоветской) лингвистике 2-ой половины XX в.

На основании положения Плеханова о жесткой связи по линии общественная формация > мышление > язык [Плеханов, 1958: 179–180] Марр выдвинул сугубо социо-метафизическую идею стадийности языка, суть которой сводилась к отождествлению стадий развития общества, мышления и языка с последовательным детерминированием именно в таком порядке. «Под стадиями понимались языковые периоды общего течения языковой истории, характеризующиеся сходными заданиями выражения лексического и грамматического строя, сходством семантических переходов и сходством идеологического содержания грамматического построения, хотя бы формально и не тождественного. Независимо от стадий, языки группируются по системам, или так называемым семьям, в которых языки, типологически между собою сближаясь по формальным лексическим и грамматическим показателям, могут оказаться носителями разностадиальных признаков. Наличные ныне языковые семьи признаются Н.Я. Марром вовсе не изначальными. Наоборот, он считает их 'надстроечным явлением весьма поздних в истории человечества эпох'» [Мещанинов, 1940: 25].

Уже ближайшие ученики Марра затруднялись признать правильной его периодизацию стадий языка и мышления, хотя, тем не менее, основные положения его теории им представлялись бесспорными. Так, в ранних своих работах Мещанинов считал основополагающими идеи о надстроечном характере языка, об отнесении возникновения синтаксиса и морфологии к разным стадиям языкотворчества с опорой на тот или иной вид хозяйствования и социальной структуры при посредстве мышления [Мещанинов, 1940: 17]. Особняком стоит утверждение о необходимости изучения языкового строя с учётом смен мировоззрения. Именно оно, на наш взгляд, наиболее ярко иллюстрирует представление об отношениях общественного устройства, мышления и языка, как об отношениях жёсткого одностороннего детерминизма, свойственное марксизму. Утверждение Марра об изменчивости языковой типологии было отнюдь не новым в лингвистике начала XX века, однако социальный характер механизмов таких изменений, задекларированный Марром, был действительно нов и оригинален для лингвистики, считавшей процесс развития языка равномерным по скорости и случайным либо телеологичным по природе. В этой связи Марр характеризовал традиционную лингвистику как эволюционную по оценке характера языковых изменений в противовес своей, которую он считал революционной.

Однако, несмотря на ярко выраженный социологизм, характеризуя онтологический статус языка в связи с его происхождением, Марр иногда выявляет в своём подходе совсем не марксистское [Десницкая, 1951: 29], а прагматистское, на наш взгляд, понимание языка: «[...]глубочайшее недоразумение, когда начало языка кладут в возникновения звуковой речи, но не менее существенное заблуждение, когда язык предполагают изначально с функцией сейчас первой – разговорной. Язык – магическое средство, орудие производства на первых этапах создания человеком коллективного производства, язык – орудие производства. Потребность и возможность использовать язык как средство общения – дело позднейшее [...]» [Марр, 1932: 7]. Приведённая цитата иллюстрирует взгляд Марра на язык как на инструмент регуляции общественной деятельности в первую очередь. В данном случае не важно, инструментом чего является язык: магии, трудовой деятельности или общения – важно, что язык понимается как нечто, что, во-первых, имеет ценность для человека и, во-вторых, является в силу этой ценности средством осуществления деятельности, в противовес метафизической трактовке языка как феномена, существующего объективно, независимо от человека, и, следовательно, вне- или надличностного. Таким образом, основой, первопричиной языка Марр считал человеческое мышление-деятельность («трудмагическое действие»), что позволяет нам утверждать, что концепция бытования языка Марра носила ярко выраженный антропологический (хотя и не всегда антропоцентрический) характер.

Язык и мышление Марр рассматривал в неразрывной связи с их социальным происхождением. Наличие диалектных различий в языке Марр

толковал как классовые различия. Изменения языковой структуры, по Марру, отражают классовые сдвиги в обществе. По мнению В.П. Сухотина, мы имеем здесь дело со смешением «классового» диалекта и языка [Сухотин, 1951: 16]. В.П. Сухотин полагал, что Марр отрицал существование национальных языков, считая реально существующими только языки социальных групп [Сухотин, 1951: 14]. Сам Марр так высказывал свой взгляд на эту проблему: «Не существует национального, общенационального языка, а есть классовый язык» [Марр, 1936, с 197]. По мнению непосредственных последователей Марра, термин «класс» употреблялся учёным «в расширительном смысле» [Чемоданов, 1950]. Такое мнение весьма обоснованно, ср.: «при матриархате, древнейшей классовой организации, было господство матери – женщины» [Марр, 1930: 43]. Марр, скорее всего, понимал язык как интеллектуальный инструмент, объединявший людей одной социальной группы по признаку его активного использования. В этой связи проф. Г. Санжеев так определял недостатки теории Марра: «коренная ошибка Н.Я. Марра заключается в том, что все его стадийные изменения происходят за порогом цивилизации и как бы прекращаются в периоды становления и наличия классовых обществ» [Санжеев, 1950]. Однако мы не можем полностью принять высказывание Санжеева, поскольку, как видно, Марр довольно оригинально представлял «класс», считая его просто социальной группировкой, а социальные группировки могут возникать практически постоянно (а не только в «классовом» обществе, тем более в его сугубо марксистской трактовке): «Но, конечно, я не имею в виду такого, как сейчас, определения класса, когда говорю ‘класс’ [...]. Я ищу термин, и никто не может мне его указать. Когда есть организация коллективная, основанная не на крови, то здесь я употреблял термин «класс», вот в чём дело. Здесь коллектив образовался в процессе производства, но не потому, что была родственная связь. Коллектив собирается, увеличивается, и это независимо от натуральной эндогамии родового строя. Здесь чисто экономические основания, и язык нам сигнализирует. Как быть? Я для краткости хотел назвать социально-экономической или производственной группировкой. Но это чрезвычайно трудно. Если образуется прилагательное, то ведь действительно трудно получается. Я брал термин «класс» и употреблял в ином значении, отчего его не употреблять? Таково действительное положение, а не желание противопоставить мои «классы» классам в их марксистски установленном понимании» [Марр, 2002: 85]. Таким образом, первопричиной развития языка Н.Я. Марр считал общественную динамику. Наличие диалектных различий в языке Марр толковал как «классовые» (т.е. социальные) различия. Изменения языковой структуры, по Марру, отражают «классовые» (т.е. социальные) сдвиги в обществе. Внимание Марра было сосредоточено на языке в непосредственной связи с условиями его функционирования в конкретной социальной ситуации, создало предпосылки для возникновения мысли о неадекватности оценки языка как объективного феномена, существующего вне социальных группировок. Развитием этой мысли стал социологический релятивизм, что послу-

жило одной из предпосылок развития в советском языкознании более позднего периода функциональной методологии.

Нельзя не отметить и того факта, что Марр придавал громадное влияние идее исторического прогресса языка, что ярко демонстрирует метафизическую составляющую в построениях Марра. Эта идея вылилась у Марра в теорию стадиальности языка и мышления. Б.А. Серебренников возводил идеи Марра о стадиальности языкового развития к лингвистическим учениям XIX века (Гумбольдт, Бетлингк, Шлейхер) [Серебренников, 1952: 47], той же точки зрения придерживался и Мещанинов [Мещанинов, 1947: 174]. Марр писал: «Без учёта стадиальности в классификации слов и понятий, в увязке с соответствующей общественностью и экономической отсутствует почва для трактовки каких-либо генетических вопросов» [Марр, 1934: 86]. Строй мышления соответствует определённой стадии развития общества, так, формально-логический тип мышления, воплощающийся в аналитическом строе языка, соответствует классовому обществу, на смену же формально-логическому типу мышления должен прийти диалектико-материалистическое мышление пролетариата [Марр, 1934: 111–112]. Итак, одной из главных идей учения Марра была идея прогресса реального коллективного мышления, вызванного социальными факторами. Такой прогресс, по мысли учёного, находит своё воплощение в грамматическом строе языка.

Как мы уже отмечали, Марр исходил из того, что язык непосредственно связан с мышлением и всё новое в мышлении практически сразу находит своё воплощение в языке. Язык понимался Марром как непосредственный результат мышления, связанного с общественной деятельностью индивида, и это положение должно было, по его мнению, стать основным при исследовании языка: «Вопрос кардинальный по нашему предмету, по языку, именно в постановке проблемы о происхождении и зависимости, прежде всего от внутренних общественных факторов. Вот тут-то у нас коренное расхождение со старой лингвистической школой, индоевропейской. Для неё творческие факторы общественности действительно неучитываемы [...]» (цит. по [Кацнельсон, 1949, I: 10]). Язык, таким образом, выступает формальным выразителем мышления. Поэтому Марр настойчиво предлагает исследовать язык только в неразрывной связи с исследованием мыслительных процессов [Кацнельсон, 1949, I: 7–35]. Естественно, что всякая новая мысль или мыслительная операция должна быть каким-то образом оформлена, чтобы быть переданной. Марр предположил, что оформление мыслительного содержания находит выражение непосредственно в грамматических значениях и формах. Если взять во внимание тогдашнее господство марксистской теории исторического (социального) прогресса, то становится понятным, почему Марр считал основным двигателем языкового развития социальный прогресс. Именно с его подачи языковое развитие стало однозначно пониматься как отражение прогресса социального. По мысли Марра, язык мог принимать более или менее прогрессивные формы, отражающие уровень мышления, который напрямую детермини-

рован социально-экономическими отношениями в обществе. Марристы, понимая язык как инструмент для передачи информации, основанный на категориях мышления, сосредоточили своё внимание на исследовании грамматической семантики языка (грамматического строя), которая воплощает особенности тех или иных социально-исторических стадий мышления. Таким образом, марровское языкознание попыталось построить своего рода типологию языка и мышления на основании социальной типологии. В отличие от типологических исследований Пражского лингвистического кружка, посвящённых преимущественно фонологической и морфологической типологии, марристы сконцентрировали основное внимание в лингвистических исследованиях на синтаксической типологии, понимая синтаксис как прямое отражение мыслительных процессов: «Н.Я. Марр, рассматривая язык как прямолинейно надстроечное явление, убедил себя, что такая задача (соотнести определённые типы формальной структуры с определёнными типами мышления, а через мышление – с определёнными типами социального строя и культурного уровня – Ю. С.) разрешима. Он выдвинул теорию стадиальности: язык с момента своего возникновения проходит ряд стадий, соответствующих стадиям развития общества» – значительно позже справедливо отмечал один из его последователей [Абаев, 1986: 33].

Важным моментом, существенно разъясняющим методологическую подоплеку стадиальной концепции Марра, по нашему мнению, является, с одной стороны, теория языка как «духа народа» Вильгельма Гумбольдта, поддержанная и развитая Штейнталем и Кассирером, а с другой – марксистско-гегельянская концепция языка как действительного, реализовавшегося общественного мышления. Именно гумбольдтианская ветвь метафизической методологии редуцирует все функции языка до экспликативно-познавательной (отсюда – однозначная детерминация связи «язык → мышление»). Гегельянская же ветвь метафизики устанавливает направленность такой детерминации «мышление → язык». Если добавим к этому гипостазирование обоими этими направлениями общественного мышления как саморазвивающейся реальной сущности и соединим это всё с марксистской теорией смены общественно-экономических формаций, получим марристскую стадиальную теорию развития общественного производства – общественного сознания – социального («классового») языка. Странно другое: почему именно эта – наиболее марксистская из всех концепций Марра – была подвергнута советскими марксистами столь яростной критике. И всё же, несмотря на существенный метафизический крен в вопросе онтологии и генезиса языка, марризм, в отличие от большинства лингвистических теорий, существовавших в советском языкознании, отличался подчёркнутым когнитивизмом, антропологизмом и прагматизмом.

С.Д. Кацнельсон так сформулировал основные положения построений Марра: «а) язык – не автономная, независимая от общества сущность, а необходимый продукт общественно-исторического процесса, вырастающий

из потребностей практической деятельности и общения людей; б) историко-материалистическое изучение языка требует изучения общественно-исторических предпосылок формирования языка и его основных строевых компонентов – грамматического строя и словаря; в) история языка – не хаотический поток случайных и разнонаправленных изменений, а закономерный процесс восхождения от низших форм высшим, обусловленный поступательным ходом общественно-исторического развития; г) закономерности формирования языкового строя едины для всех языков; д) семантическое развитие языков, содержание слов и грамматических форм претерпевают в ходе развития ряд качественных перестроек, позволяющих говорить о стадийных сменах форм мышления, отражённых в формах языка; е) ранние стадии в развитии характеризуются специфическим синкретизмом («диффузностью») и полисемантизмом; ж) в развитии грамматического строя ведущая роль принадлежит синтаксису, истории предложения как выражению активной мысли» [Кацнельсон, 1985, I: 51]. Столь обширную цитату мы оправдываем тем, что она представляет собой уникальное по полноте, краткости и непредвзятости выражение основных лингвистических воззрений Марра.

Ещё одной важной чертой марристского языкознания является постоянное акцентирование внимания на изучении семантических оснований языковой формы. В последнее десятилетие своей деятельности Марр перенёс своё внимание с историко-лингвистических исследований на исследование языковой семантики – «идеологии языка» – как формы мышления. Марр создаёт яфетидологическую семасиологию, «то есть учение о значениях, и палеонтологию, учение о перевоплощении строя речи формального и идеологического» [Марр, 1936: 19]. По этому поводу Мещанинов писал: «[...] Семасиология уже выделялась и раньше, но, как общее правило, она изучалась в значительном отрыве от других отделов грамматики, а иногда и вовсе исключалась из неё как самостоятельная языковедческая дисциплина. Н.Я. Марр подошёл иначе. Он рассматривает значение слова в тесном единстве с его формальным в языке выражением. Тем самым, оказалась более остро поставленной проблема формы и содержания в лингвистическом исследовании. Марром устанавливается движение формы и движение семантики, рассматриваемые оба как результат общественной деятельности человека» [Мещанинов, 1940: 19]. По мысли Марра, форма слова может меняться независимо от изменения значимости слова. Значение же слова равным образом может меняться при сохранении той же звуковой формы. В частности, само фонетическое изменение слова, так называемая внутренняя флексия, в её расширенном понимании выражающая лексические и грамматические изменения, рассматривалась Марром как подчинённая изменениям собственно слова, и его же – в предложении (формоизменение). Таким образом, Марр стоит на волюнтаристской позиции при оценке отношений между формой и значением слова. В связи с семасиологическими исследованиями Марр создал методику палеонтологического анализа, под которым понималось прослеживание «перевопло-

щения строя речи». Другими словами, под палеонтологическим анализом подразумевалось исследование языкового процесса в целом. Палеонтологический анализ, по мысли Марра, был призван реконструировать минувшие стадии развития языка и мышления.

Обсуждая работы Марра, в одной из своих ранних работ С.Д. Кацнельсон писал: «Смысловое содержание языка раскрывается, таким образом, в единстве понятий и связанных с ним лексических значений, в единстве категорий мысли и связанных с ними грамматических категорий» [Кацнельсон, 1949, I: 19].

В результате внимание Марра и его последователей сосредоточилось на изучении семантической стороны языка, формировался ономаσιологический подход не только в лексикологии, но и в других отделах языкознания. Так, проф. Л.В. Матвеева-Исаева считала главной задачей синтаксиса «подойти к предложению с точки зрения его действительного, ничем не подменённого содержания, т.е. исходить из содержания сознания говорящего» [Матвеева-Исаева, 1948: 207], в этой связи грамматические формы, рассматриваемые семасиологически, она сравнила с «анатомизированными препаратами, замурованными в банках с ярлыками» [Матвеева-Исаева, 1948: 235]. Именно ономаσιологическое рассмотрение грамматических категорий, по мнению Матвеевой-Исаевой, делает лингвистическую теорию ценной с познавательной точки зрения, отражающей механизмы языка и речи. По авторитетному мнению В.А. Звегинцева, в системе Марра «семантика занимала ведущее место в ряду других языковедческих дисциплин» [Звегинцев, 1951: 151]. Ономаσιологические основания лингвистических исследований, настойчиво утверждавшиеся Марром и его последователями, их критики были склонны квалифицировать как «идеалистические» [Виноградов, 1951; Звегинцев, 1951; Поспелов, 1951]. «Обходя лингвистическую реальность, Н.Я. Марр стремился проникнуть в те сферы, где господствуют закономерности развития смыслового содержания» [Звегинцев, 1951: 155]. Звегинцев присоединяется к мнению исследователей, которые утверждали связь между концепциями представителей психологического направления в языкознании и марризмом [Звегинцев, 1951: 158]. В работах Марра мы встречаем высказывания, однозначно свидетельствующие о его ономаσιологическом подходе (которое? он однозначно противопоставлял семасиологическому: «Формально-идеалистическое учение, на котором построена так называемая грамматика, абсолютно не приспособлено к увязке ни с живой речью подлинной, ни с её базой» – писал Марр [Марр, 1934: 374]) к вопросам исследования языка: «Звуковая речь начинается не только не со звуков, но и не со слов, а с определённого идеологического построения» [Марр, 1936: 368]; «В синтаксисе, притом сначала при системе аморфной или синтетической речи лингвистические элементы получают ту или иную синтаксическую функцию, и ею определяется смысл лингвистического элемента не только как части предложения, но и как части речи, равно и лексического его назначения» [Марр, 1936: 368]. Таким образом, Марр понимал язык как продукт мыслительной

деятельности, выражаясь в терминах И. Канта, как «ноумен», находящий свое выражение в конкретных актах фonaции. В центре внимания при таком подходе неизбежно оказались, в первую очередь, те феномены речи, которые могли, по мнению Марра, дать информацию о семантике языка, его «идеологии». Ономастологический подход Марра к исследованию языка подвергся жёсткой, часто несправедливой критике в литературе 50-х годов XX века. Так, В.В. Виноградов писал: «последователями Марра выхватывались из его сочинений разные цитаты и формулы, необходимые для оправдания всего, что служило на потребу этим оппортунистам в науке» [Виноградов 1951: 72]. По мнению акад. Виноградова, «Чрезмерно увлекаясь семантикой, переоценивая её значение, злоупотребляя ею, Н.Я. Марр уклонился в сторону идеалистической интерпретации фактов языка, попал в болото идеализма и искажил внутреннюю сущность языка как предмета языкознания, законы его развития, понимание его общественной природы, его отношения к мышлению» [Виноградов 1951: 69]. Акад. Виноградов верно подметил основное направление мысли Марра, однако, на наш взгляд, дал ей неадекватную оценку, поскольку, как мы считаем, интерес к семантике не обязательно имеет своим следствием именно идеализм, тем более, что значение этого термина в советское время было чрезвычайно размыто. Такой «чрезмерный» интерес к семантике языка может в равной степени свидетельствовать как о метафизическом или субъективном идеализме, так и о функциональном или прагматическом (антропоцентрическом) понимании языка.

Как видно, в основе взглядов Марра на язык лежали: 1) представление о языке как о продукте умственной деятельности, как об инструменте мышления и 2) стремление связать язык и мышление с ходом исторического развития общества. Нам кажется, что в основе взглядов Марра лежало соединение двух философских концепций, отмеченное критиками и последователями Марра: кантианского ментализма (почерпнутого, возможно, через идеи Плеханова и Потебни – см. выше) и восходящей к Марксу и его последователям социологической метафизики (представление об обществе как о реальном феномене, определяющем всю человеческую культуру, мышление, язык и т.д.), которая была свойственна научным концепциям советской науки 20–30-х годов минувшего века.

Таким образом, эклектизм лингвистической концепции Марра заключается в соединении воедино идеи языка как ментальной сущности (человеческого опыта) и одновременно прагматического, орудия человеческой деятельности в социальной среде, а также совершенно противоречащей ей идеи языка как социально-метафизической сущности (реализованного в речи реально существующего коллективного опыта) и одновременно как телеологического продукта исторического развития общественного производства.

Кроме всех прочих недостатков построений Марра, и эта эклектичность также, начиная с 1950 года, неоднократно подвергалась критике, представляющей собою чрезвычайно обширный корпус работ. Несмотря на спра-

ведливость критики оппонентов, теория Марра, на наш взгляд, имела и ряд бесспорных достоинств. Прежде всего, следует отметить попытку функционально и прагматически увязать язык с другими феноменами человеческого сознания и опыта в целом. Марр пытается обосновать и проследить взаимозависимость между языком и мышлением, перенося акцент в лингвистическом исследовании с описания «языкового инвентаря», как это было свойственно лингвистике XIX века и многим субстанционально и реалистически ориентированным концепциям лингвистики первой половины XX века, на исследование семантики, а также прагматической связи языковых категорий с категориями мышления (следует отметить, что мышление Марр и его последователи понимали как естественную форму познавательной деятельности человека и тем самым отмежёвывались от рационалистических и логистических лингвистических концепций: «Лингвист-материалист не берёт понятия в готовом виде из формальной логики и философии [...]» [Кацнельсон 1949, I: 19]). Логическим следствием такого подхода к оценке онтологии языка стал заметный менталистский крен в работах Марра и его последователей: поскольку язык является овееществлением мышления, приходится сосредоточить своё внимание на ментальной природе языка. Ментализм Марра (правда, в несколько ослабленной форме когнитивизма) создал предпосылки для становления и развития собственно функционального подхода к изучению языка в работах его последователей. Именно в таком русле и развивалась часть марристской лингвистики, достигнув наиболее полного развития в работах акад. И.И. Мещанинова 40-х годов прошлого века. Таким образом, менталистски-метафизические (с некоторыми элементами прагматизма) в методологическом отношении построения Марра, в силу своего эклектизма, создали предпосылки для «расслоения» в рамках «нового учения о языке» менталистских и метафизических подходов к изучению языка.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЧАСТИ РЕЧИ

В работах последователей учения Марра, на наш взгляд, представлен довольно интересный и оригинальный подход к проблеме определения языка, оценки его онтологического статуса и, на основе этого, определения онтологического статуса частей речи.

Напомним, что одним из столпов марристского языкознания была идея о стадильности языкового развития: «Выдвижение этой проблемы и опыты её разрешения, шедшие различными путями, привели в окончательном итоге к укреплению основного положения о связи языка с мышлением. К этому же приводит и устанавливаемая Марром во всех его работах связь между формой и содержанием. Она прослеживается в лексике, в функциональной значимости словообразующих аффиксов и, наконец, в построении предложения. Тем самым Н.Я. Марр приближается к рассмотрению с той же точки зрения ведущих особенностей синтаксических построений» [Мещанинов 1947, I: 41]. Теория стадильности предполагает установление однозначной связи между общественной формацией, строем мышле-

ния и строем языка. Эта теория дала толчок исследованиям, которые были направлены на изучение соотношения мышления и языка.

Последователи Марра стремились разграничить языковые явления общего, мирового характера и явления конкретно-исторического характера [Предисловие 1951: 9]. К первым относились явления типологического сродства или соответствия, ко вторым – явления генетического родства языков. «Лишь явления типологического родства, непосредственно увязанные с мировоззрением и уровнем мышления, могут быть исследованы стадияльно как отражения общих закономерностей общественного развития [...], – заявлял С.Д. Кацнельсон. – Что же касается явлений материального родства, то изучение их должно строиться с учетом всех второстепенных обстоятельств и случайных изгибов исторического процесса» [Кацнельсон, 1941: 55]. Таким образом, в центре внимания марристов оказался язык как система, включённая в сложные системные отношения с другими феноменами и, в первую очередь, с мышлением. Соотнесение языка с мышлением позволяет утверждать, что для марристов язык был именно психическим феноменом. Так, акад. И.И. Мещанинов уже в ранних своих работах прямо связывал мыслительное содержание с формальной стороной речи: «Сходные нормы мышления вырабатывают сходство формальной стороны речи» [Мещанинов, 1936: 286]. В более поздних своих работах учёный продолжал настаивать на взаимосвязи языка и психических процессов: «Предложение в своем сочетании слов передает представление о предметности и процессе, чем и выражается восприятие реальной действительности» [Мещанинов, 1945: 109]; «При сходстве норм сознания на определенном этапе развития общественной среды и в языке создаются под их воздействием выдержанные системы понятийных категорий» [Мещанинов, 1948: 3]. Проф. Кацнельсон писал, что разные области языкового строя представляют собой «разные степени формальности языковых явлений, разные степени удаления тех или иных напластований от основного мыслительного содержания речи» [Кацнельсон, 1948: 116]. Именно психологизм как основная методологическая установка предопределил дальнейшие пути развития марристского языкознания.

В относительно поздних трудах некоторых марристов (40-е годы минувшего века) наметилась линия, которая перестала онтологически связывать языковое и общественное развитие, искать однозначные соответствия между социальными отношениями и строем языка. Такая тенденция обусловлена отходом от рассмотрения общества как реального феномена, который (отход) мы пытаемся продемонстрировать ниже. В результате начинает формироваться собственно функциональная (реляционистическая) и ментальная (антропоцентрическая) теория языка, уже не отягощённая метафизическим социологизмом, который у Марра определял и бытие, и развитие языка. Эта тенденция наиболее ярко выразилась в лингвистической концепции акад. И.И. Мещанинова.

Положение Марра о стадияльности языка и мышления после его смерти трактовалось даже ближайшими учениками неоднозначно. Мещанинов

трактовал стадиальность не как отражение непосредственного влияния социальных процессов на строй языка, а как отражение взаимосвязи языка и мышления. В работе 1940 года «Общее языкознание» [Мещанинов, 1940] он отказывается от попыток связать стадии развития языка с этапами развития общества, перенося акцент на семантическую сторону языка. В этой связи стадии развития языка связываются учёным в процесс движения от слова-предложения к предложению-словосочетанию. Отказ от идеи непосредственной детерминированности языка социальными факторами выразился у Мещанинова в отказе от идеи о классовости языка. Такое движение, по Мещанинову, отражало процесс развития языковой семантики под действием мышления. Эта концепция легла позже в основу теории частей речи, выдвинутой Мещаниновым в его более поздних работах. Мещанинов понимал язык, в первую очередь, как средство общения: «Являясь основным средством общения, речь имеет свою главную функцию законченное и конкретное выражение коммуникации. Поэтому слово не ограничивается одним только своим свойством обозначать наименование предмета или понятия. Напротив, само это наименование устанавливается в языке потребностями общения» [Мещанинов, 1978: 8]. Такое определение предполагает разведение речи как интерсубъективного акта, направленного на передачу информации и языка как психического феномена, лежащего в основе речи. Мы считаем, что к середине 40-х годов прошлого века Мещанинов пришёл к выводу об интерсубъективном и коммуникативном статусе языка. Яркой иллюстрацией именно такого понимания языка у Мещанинова может послужить следующее утверждение учёного: «формальное выделение тех или иных категорий является результатом того выделения, которое уже существует в отдельном их восприятии как особо воспринимаемых в сознании основной среды» [Мещанинов, 1978: 237]. Таким образом, учёный чётко противопоставил представление о языковых структурах отдельного носителя языка и представление о языковых структурах общества, которое, тоже есть представление о них у отдельного носителя. Соответственно общество перестаёт быть у Мещанинова объективным феноменом, становясь ноуменом наравне с языком. Таким образом, на наш взгляд, лингвистическая концепция Мещанинова к середине 40-гг. исключала идею о социальной формации как детерминирующем факторе развития языка и мышления. Как видим, во взглядах Мещанинова акцент сместился с рассмотрения социальной обусловленности языка на рассмотрение соотношения языка и речи и, соответственно, мыслительных оснований языка. Такой отход Мещанинова в сторону от рассмотрения генезиса языка под влиянием развития общественных формаций не остался незамеченным. Проф. Рифтин по тому поводу писал: «Несмотря на то, что эта работа [«Общее языкознание» Мещанинова – Ю. С.] включает в себе целый ряд новых и тонких наблюдений из области синтаксиса и морфологии в их развитии, стадиальность периодическая, на наш взгляд, здесь менее отчётлива, чем в работе 1936 г.» [Рифтин, 1946: 21].

Итак, в русле марризма Мещанинов создал концепцию онтологического статуса языка как интересубъективного психического феномена, служащего для осуществления общения и тесно связанного с мышлением. Язык в этой связи рассматривался и как экспликация стандартных операций мышления специфичных для данной языковой общности [Мещанинов, 1978].

Кроме менталистской трактовки языка, для марризма очень важным является постоянное акцентирование внимание на различении статического и динамического аспектов в функционировании языка. Такая точка зрения, на наш взгляд, восходит к идее различения языка и речи как различных явлений. Однако различение языка и речи несёт в себе возможность рассмотрения языка как инварианта речи, а каждого элемента языка как инварианта своего речевого варианта. При таком понимании язык становится системой правил речи. Напротив, марристы считали, что язык как система представляет собой не просто систему правил данного языка, а сложную систему порождения речи, систему, которая включает в себя структуры, позволяющие осуществлять промежуточные операции со своими элементами. Так, Мещанинов разделил язык на «1) фонетику (учение о социально значимых звуках); 2) лексику (учение о слове в отдельности и о словосочетаниях лексического порядка); 3) синтаксис (учение о слове в предложении и о предложении в целом)» [Мещанинов 1975: 45]. Мы же считаем, что *de facto* в марристском языкознании язык делится на 1) формальную область (фонетика) и 2) содержательную область, область «идеологии». Область идеологии, в свою очередь, была разделена на а) область номинации (лексику языка) и б) область предикации (синтаксис языка). В этой связи мы должны отметить, что нам не удалось обнаружить утверждений марристов об изоморфизме фонетики и любой другой области языка, хотя лексика и синтаксис, по мнению марристов, являются изоморфными (к цитатам, подтверждающим это, мы обратимся при рассмотрении онтошения грамматики к синтаксису и лексике), что и позволяет нам объединить позиции 2 и 3 в классификации Мещанинова в одну категорию, противопоставленную позиции 1 по той же классификации. Таким образом, предлагаемая нами трактовка деления языка на разделы в марристском языкознании базируется на прослеживаемом в работах [Абаев, 1934; Кацнельсон, 1948] понимании отношений между единицами лексического и синтаксического планов как изоморфных.

Как уже отмечалось, критикуя традиционное деление лингвистики на дисциплины, Мещанинов предложил своё. Лингвистика у него формально разделяется на 1) фонетику, 2) лексику, 3) синтаксис [Мещанинов, 1975: 45]. К области лексики отнесена и морфология, и семасиология, и этимология слова и фразеологизма. Слово, как общий предмет исследования, объединяет лексику и синтаксис. Мещанинов писал, что «слово в предложении, предложение в целом и сочетание предложений составляют различные стороны синтаксиса, на фоне которого, по смысловому значению фразы, устанавливается формальная сторона и слова, и самого предло-

жения» [Мещанинов, 1940: 35]. Редукция грамматики к лексическим или синтаксическим категориям базировалась у Мещанинова на ономаσιологическом подходе к изучению языка: «учитывая формальную сторону, придется относить изменение слова, хотя бы и грамматическое, к учению о самом слове, к морфологии [...], но если подходить с учётом семантики слова и предложения, то изменение слова в синтаксических целях в порядке выявления значения слова во фразе, придется отнести равным образом к семантике предложения, а не к семантике слова» [Мещанинов, 1940: 39–40]. Сходное понимание этой проблемы было и у Кацнельсона: «понятие морфологии становится более глубоким, поскольку в это понятие входит вся сумма форм, существующих в языке как носителей синтаксических отношений» [Кацнельсон, 1949, I: 50]. Таким образом, морфологии было отказано в статусе самостоятельной области языка. Соответственно вопрос о статусе морфологии и её категорий переместился в плоскость определения соотношения основных лингвистических начал (лексики и синтаксиса) в объёме понятия морфологии.

Марристы, отказавшись от идеи о самостоятельном статусе грамматики, связали её, с одной стороны, с синтаксисом, а с другой – с лексикой (словарём). Соответственно, грамматическое в концепции марристов не являлось онтологической чертой языка. Напротив, грамматика (напомним, что сами марристы избегали употреблять этот термин) как класс специфических языковых знаков являлась для них явлением историческим и, следовательно, непервообразным для языка. Соответственно, любые грамматические явления для марристов представляли собой продукт длительного исторического развития языка. Морфология, таким образом, становится «техникой для синтаксиса» [Марр, I: 401]. Как мы уже неоднократно отмечали, основой развития языка марристы видели развитие общественного производства и социальной сферы человеческих отношений в целом. Соответственно, определённые типы грамматики языка соответствовали определённым типам социального устройства. Таким образом, части речи как грамматические категории были для марристов не онтологической категорией языка, а продуктом его исторического развития, «категорией текучей, качественно различной на разных стадиях развития» [Кацнельсон, 1947: 390], в противовес традиционным грамматическим теориям, которые «основывались на убеждении, что члены предложения неизменны и вечны» [Кацнельсон, 1947: 390] (о взаимосвязи членов предложения и частей речи см. ниже).

Отход от рассмотрения общества как онтологической первопричины мышления и языка на фоне тезиса Марра о детерминированности языка мышлением в новом свете поставил вопрос о соотношении языка и мышления как объекта исследования «Нового учения о языке» и, соответственно, о соотношении мыслительного и грамматического в языке. В этой связи Мещанинов стремился чётко отграничить собственно языковое (грамматическое) от когнитивного (принадлежащего по преимуществу мышлению) не разделяя их, а рассматривая их в неразрывной связи. Таким

образом, грамматика (и, соответственно, части речи) выступает у него в качестве выразителя (инструментальной функции в современных терминах) мыслительного содержания, а мыслительное содержание для Мещанинова становится неразрывно связанным с языком как со своей формой. Таким образом, язык вообще и, в частности, грамматическое находятся в концепции Мещанинова в функциональных отношениях с мышлением и его материалом, как форма и содержание. Для Мещанинова, таким образом, языковая картина мира, в принципе, не тождественна когнитивной картине мира, а является её производной. Когнитивная картина мира, в свою очередь, является разной в разных обществах, хоть и имеет типологические специфически человеческие черты.

Такое тяготение к рассмотрению психологических оснований языка не могло не обратить внимания Мещанинова на проблему определения частей речи. Проф. М.Н. Петерсон по этому поводу писал, что психологизм прямым своим следствием имеет учение о частях речи, и что если в процессе исследования языка отказаться от идеи о том, что слово и предложение суть выразители определённого психического представления, то, естественно, отпадает необходимость в таком понятии как член предложения, а так же становится абсурдным представление о мышлении как о процессе внеязыковом [Петерсон, 1952: 389]. Мы полностью солидаризируемся с мнением Петерсона и считаем, что именно положение о психичности языкового значения и речевого содержания лежит в основе концепции частей речи и членов предложения Мещанинова.

ЧАСТЬ РЕЧИ КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Представителям марристовского языкознания было свойственно стремление к пересмотру всех без исключения устоявшихся лингвистических представлений. Соответственно, часть речи как одно из важнейших лингвистических понятий было подвергнуто марристами обстоятельной критике и фундаментально переработано. В отличие от, например, логической трактовки части речи как класса слов, которые соответствуют определенным классам понятий и универсальны для всех языков (например, [Буслаев, 1858]), марристы отказались от универсализации части речи и рассмотрения их как априорно определенных категорий любого возможного языка. Для предварительного уяснения решения вопроса о семиотическом статусе частей речи в работах последователей Марра следует обратиться к их высказываниям о семиотическом статусе грамматики и её элементов вообще. Поскольку единственная законченная теория частей речи в рамках марристовского языкознания изложена в монографии Мещанинова «Члены предложения и части речи», мы в дальнейшем изложении остановимся, главным образом, на рассмотрении теоретических положений данной работы, привлекая, однако, и работы других учёных рассматриваемого направления.

Понятием, соотносящим в концепции Мещанинова грамматику и мышление, является понятийная категория. Впервые Мещанинов ввёл термин

«понятийная категория» в статье 1945 года [Мещанинов, 1945, II], позаимствовав его в работе О. Есперсена [Есперсен, 1958]. Понятийная категория, по Мещанинову, представляет собой такие категории мышления, общепринятые в данной общественной среде, которые находят в языке своё выражение. Если такие категории находят грамматическое или синтаксическое выражение, то становятся тем самым грамматическими категориями [Мещанинов, 1945, II: 196]. Понятийные категории у Мещанинова – это семантические категории, лежащие в основе системы языка, но не являющиеся элементом языка, это своего рода основание для языка. Понятийная категория, таким образом, выступает системно связывающим элементом речемыслительных процессов в концепции Мещанинова. Понятийная категория, как мы уже отмечали, у Мещанинова понимается как результат субъективных восприятий индивида, получивших социальную значимость, являющийся семантической основой языка и связывающий его с мышлением. Такое представление в психике человека, лежащее в основе картины мира индивидуума, является в концепции Мещанинова основой речевой деятельности.

Характеризуя способ установления связи между формой и содержанием в грамматике и в этой связи статус понятийных категорий как преимущественно мыслительных (ментальных в современной терминологии), Мещанинов, настаивая на внеязыковом статусе понятийных категорий, писал: «Но если грамматическая форма не может исследоваться только сама в своей узко формальной стороне и если невозможен отказ от учёта её социальной функции при передаче тех или иных понятий, которые выражаются в речи, то всё же понятийные категории как непосредственное отражение в языке действующих норм сознания вовсе не выделяются в особое языковое мышление или так называемую ‘внутреннюю речь’» [Мещанинов, 1949, II: 297]. Тяготея к функциональной методологии, Мещанинов считает «грамматическое понятие» (термин Мещанинова) способом языкового выражения (экспрессивной функцией) обыденных понятий, релевантных для строя языка. Резко критикуя позиции классического языкознания [Мещанинов, 1975: 11–33], Мещанинов объявляет основными единицами языка предложение и слово, которые, по его мнению, находятся в тесной взаимосвязи. При этом обе эти единицы рассматриваются в речевом функционировании, имеющем социальные корни [Мещанинов, 1975: 32–33]. Такой подход закономерно подводит исследователя к необходимости рассмотрения не только формальной, но и ментальной стороны языковых фактов: «То, чего конкретный носитель речи, племя, народ, нация себе не представляют, того и нет в языке» [Мещанинов, 1975: 31]. Часть речи понимается у Мещанинова как сугубо языковое образование, свойственное языкам только определённого грамматического строя. По мысли Мещанинова, части речи являются продуктом функционирования языка и элементом его структуры. Мещанинов считал, что «понятийными категориями передаются в самом языке понятия, существующие в данной общественной среде. Эти понятия не описываются при помощи языка, а

выделяются в нём самом, в его лексике и грамматическом строе. Те понятийные категории, которые получают в языке свою синтаксическую или морфологическую форму, становятся [...] грамматическими понятиями» [Мещанинов, 1978: 238].

Понимание грамматических категорий вообще и части речи в частности у Мещанинова в значительной мере определяется отрицанием грамматической природы слова и погружением в семантику предложения. В основе грамматических категорий, по Мещанинову, лежат понятийные категории, которые только находят в грамматических категориях своё формальное выражение. Понятийные категории могут быть оценены как когнитивные, некоторые из них, по Мещанинову, находят воплощение в грамматическом строе языка. Учёный понимает грамматическую категорию как класс значений, выступающих в качестве конституирующих показателей как части речи, так и членов предложения. Анализ положений работы «Члены предложения и части речи» [Мещанинов, 1978] приводит к выводу о том, что Мещанинов рассматривает грамматическое значение как строевой элемент языка, то есть как такой, который является семантическим центром, точкой отсчёта языковой деятельности. Однако грамматическая категория, будучи инвариантом нескольких грамматических значений, не является центром концепции Мещанинова, выступая выразителем более общих категорий языка, которые зачастую являются языковыми универсалиями. Грамматическое значение, в свою очередь, выявляет определённые понятия, лежащие в основе строя языка, его грамматических категорий: «любые член предложения и часть речи для выявления в каждом языке их общих свойств нуждаются в ряде их сопровождающих и в каждом языке устанавливаемых присущих им признаков, которые сопутствуют основному и ему свойственны в конкретном строе речи» [Мещанинов, 1978: 231]. Следует отметить, что Мещанинов не упустил из внимания тот факт, что грамматическое значение, будучи выражением, оформлением части речи, является непременным условием её существования: «Если в каком-либо языке не обнаруживается грамматических категорий, свойственных определённой части речи, то в данном языке этой части речи нет» [Мещанинов, 1978: 233]. Понимание грамматического значения как синтаксического по своей природе, заставляет до определённой степени сблизить понятия части речи и члена предложения, с той лишь оговоркой, что категория части речи, будучи обусловленной синтаксической функцией, имеет, однако, лексическую значимость [Мещанинов, 1978: 235].

На основании разделения языка на лексику и синтаксис Мещанинов выделяет: 1) лексические понятийные категории; 2) синтаксические и морфологические (по способу выражения) понятийные категории. При этом лишь вторые могут быть основанием для формального выделения частей речи, в то время как первые являются необходимой предпосылкой для формирования в языке частей речи как лексических группировок. Лексические понятийные категории оказывают влияние на систему частей речи в случае, если отражают строевые элементы значений языка (граммати-

ческие значения), а, следовательно, будучи определенным образом грамматически выражены [Мещанинов, 1978: 237–239]. Мещанинов даёт следующую схему взаимодействия трёх основных компонентов своей теории: «1) понятийная категория выявляется в семантике слов, в синтаксических построениях и в оформлении слова, 2) синтаксически выявляемая понятийная категория становится грамматическим понятием, 3) грамматические понятия, выявляясь в семантическом строе и морфологии, должны получать в них свои грамматические формы, 4) грамматические формы, образующие в языке определённую схему, выделяют те грамматические категории, по которым проводится деление на члены предложения и части речи» [Мещанинов, 1978: 232]. «Части речи рассматриваются Мещаниновым как лексические группировки, характеризующие определёнными синтаксико-морфологическими показателями. Семантика слова предопределяет первоначально его синтаксическую роль в предложении. Но использование слова в роли определённого члена предложения оказывает, в свою очередь, влияние на закрепление за ним особых формальных признаков, различных для разных языков, которые выделяют его в самостоятельную группу. Таким образом, части речи представляют собой в своей основе морфологизированные члены предложения» [Жирмунский, Аврорин, 1960: 9], – справедливо отмечается в литературе. В этой связи Кацнельсон так определял часть речи: «Части речи – это слова, закрепившиеся в определённом лексическом значении и обособившиеся в своей синтаксической функции» [Кацнельсон, 1949, I: 51].

Таким образом, часть речи является едва ли не основным понятием грамматики марризма в языкознании, представляя собой своего рода фокус, точку функционального и прагматического взаимодействия мышления и речи, синтаксиса и лексики. Основой грамматической системы, как и всего языка, Мещанинов видел категории мышления, релевантные для всех членов данного общества. Такие категории, по мысли учёного, должны быть воспринимаемы отдельными членами общества как «социально значимые», что ещё раз подтверждает выдвинутый нами выше тезис об intersубъективной оценке онтологии языка в лингвистической концепции Мещанинова.

Точка зрения Мещанинова и его единомышленников была жёстко оценена критиками: «Следовательно, во-первых, различаются внеязыковые 'понятия, существующие в данной общественной среде', и языковые понятийные категории. Во-вторых, сами понятийные категории 'без их выявления в языке остаются в области сознания', т.е. наличествуют лишь как 'категории сознания' не осуществившие, не реализовавшие свои потенции в языке. В том и другом случае характерно признание двух типов мышления – внеязыкового, или доязыкового, и языкового, типичное для идеалистических теорий языка» [Предисловие 1951: 11]. Как отмечается там же, «учение о понятийных категориях лежит в основе тех ошибочных работ послевоенного времени, которых довольно много появилось в области изучения синтаксиса самых разнообразных языков народов Советского

Союза» [Предисловие 1951: 11]. Ярцева критикует концепцию понятийных категорий на том основании, что прямым следствием этой концепции является признание внеязыковых форм мышления [Ярцева, 1952: 356]. Сегодня можно дополнить эти высказывания тем, что учение о понятийных категориях лежит в основе многих современных работ по функциональной грамматике, которая на территории бывшего Советского Союза развилась в мощное научное направление.

ЧАСТЬ РЕЧИ КАК ГРАММАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Как мы уже отмечали выше, в основе выделения частей речи для марристов лежал признак выраженного формально грамматического значения, присущего какой-либо лексической группировке. На основании наличия такого грамматического значения лексической группировки и происходит, по мысли марристов, формирование части речи как лексической группировки слов. «[...] Те группировки словарного состава, которым мы присваиваем название частей речи, образуются в языке лишь тогда и лишь в том случае, когда группировка слов происходит не только по их семантике, но и по наличию у них упомянутых выше характеризующих формальных показателей» [Мещанинов, 1978: 22].

Как уже отмечалось, грамматика была исключена марристами из языка и языкознания. Основными двумя стихиями для них стали лексика (статика, номинативная система) и синтаксис (динамика, речевое функционирование) и именно на функционально-прагматическом пересечении этих двух стихий языка марристы искали обоснование сути и природы частей речи. Части речи, по Мещанинову, представляют собой лексические классы слов, обладающие специфическим грамматическим оформлением. На основе закрепления за определёнными лексическими классами слов синтаксических показателей определённых членов предложения возникают части речи как лексические классы слов, а форманты синтаксических значений выражая потенциальные, а не актуальные синтаксические значения слов, становятся выразителями лексического значения, присущего всему классу слов, рассматриваемому в качестве части речи: «Лексическая группа, закрепившая такие форманты за собою, сохраняет их в качестве уже словообразовательных элементов и попадает с их оформлением уже в словарь языка» [Мещанинов, 1978: 21]. Таким образом, грамматические значения, присущие частям речи, имея синтаксическую природу, становятся, однако, частью словаря или, в терминологии О.В. Лещака, информационной базы языка. В основе такого процесса лежит процесс «истирания» синтаксического значения части речи, процесс технизации (данный термин предложен В.И. Абаевым). Таким образом, части речи представляют собою, в свете «нового учения о языке», сочетание лексического значения, присущего определённой группе слов с типичными синтаксическими по природе значениями, присущими ей, ставшими неотъемлемой частью значения таких слов и нашедшими своё формальное обязательное выражение.

Определение частей речи как лексических группировок слов с определёнными синтаксическими свойствами, проявляющимися и приобретёнными в предложении, и вытекающее из него положение о лексическом статусе категории части речи натолкнулось на жесткую критику со стороны противников «нового учения о языке». М.Н. Петерсон критиковал их за новизну и противоречие мнению научной общественности [Петерсон, 1952: 391]. Сам он, ссылаясь на работу И.В. Сталина [Сталин, 1950: 24], утверждал, что «в настоящее время совершенно ясно, что вопрос о частях речи относится к грамматике, а не к лексике» [Петерсон, 1952: 391]. Однако, такая критика не совсем справедлива, поскольку основной пафос утверждения марристов о «лексичности» частей речи, на наш взгляд, заключается в утверждении собственно семантической природы проводимого во многих языках частеречного деления в противовес распространённому мнению о чисто формальной природе частей речи (сравните, например, взгляды на части речи акад. Ф.Ф. Фортунатова). В этой связи Н.С. Поспелов справедливо отмечал, что вопрос о природе словоизменения решается у Мещанинова с точки зрения семантики, при этом Мещанинов склонен различать словоизменение лексическое и синтаксическое [Поспелов, 1951: 195]. Мещанинов отмечает, что «учитывая только формальную сторону, придется отнести изменение слова, хотя бы и грамматическое, к учению о самом слове, к морфологии [...], но если подходить с учётом семантики слова и предложения, то изменения слова в синтаксических целях в порядке выявления значения слова во фразе придется отнести равным образом к семантике предложения, а не к семантике слова» [Мещанинов, 1940: 39–40]. По справедливому замечанию Поспелова, такой подход к семантике синтаксических единиц роднит построения Мещанинова с теориями Вандриеса [Поспелов 1951: 196]. Действительно, части речи как лексические категории рассматриваются в «новом учении о языке» в неразрывной связи с членами предложения, к подробному рассмотрению чего мы вынуждены обратиться.

ЧАСТЬ РЕЧИ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ ЯЗЫКА

По поводу разграничения языковых единиц и разделов языкознания их изучающих, И.И. Мещанинов писал: «учение о социально значимом звуке (фонетика), учение о слове, как бы его ни именовать: морфологией или лексикой, и учение о строении предложения (синтаксис) связаны между собою общими моментами, хотя и сохраняют каждый свои, ему присущие свойства. В том же положении по отношению друг к другу находятся и члены предложения с частями речи» [Мещанинов, 1978: 14]; «как член предложения, так и часть речи обладают своими особенностями, которыми они выделяются: член предложения – в предложении, часть речи – в лексическом составе языка» [Мещанинов, 1978: 14, 15]. Оценивая лингвистический статус понятия части речи: Д. Кацнельсон отмечал: «части речи образуют лишь одну из сторон общей морфологии, именно ту её сторону, которая касается классификации слов по их наиболее общим граммати-

ческим значениям, в то время как члены предложения составляют другую сторону общей морфологии, охватывающую функционирование слов в конкретном речевом контексте» [Кацнельсон, 1948: 126] – и далее: «части речи это те же члены предложения, но проецированные на плоскость отношений между отдельными словами, как члены предложения; в свою очередь, это части речи, как они постоянно реализуются в связном речевом контексте» [Кацнельсон, 1948: 130]. Итак, мы видим, что марристы понимали члены предложения и части речи как явления изоморфные: «признавая наличие в частях речи и лексических и синтаксических критериев, нам приходится рассматривать их параллельно с членением самого предложения» [Мещанинов, 1978: 25]. Однако понятие «изоморфизм», предполагающее подобие структуры единиц, требует также и четкого определения их неотжественности. Таким образом, проблема выяснения места части речи во внутренней форме языка лежит в плоскости выяснения функциональной и прагматической соотнесенности части речи с другими единицами языка.

В основе определения частей речи и членов предложения Мещанинов видел понятие грамматической категории, то есть инварианты «грамматических форм, образующие в языке определенную систему» [Мещанинов, 1978: 239]. Части речи для марристов контаминируются с целыми классами членов предложения, «семантическое их назначение оказывается общим их признаком, свойственным всем языкам, в которых существуют данного рода членения предложения и словарного запаса языка» [Мещанинов, 1978: 15].

Таким образом, в основе изоморфизма членов предложения и частей речи Мещанинов видел их общую семантическую функцию, которая является не просто общим для членов предложения и частей речи, но типологической чертой целого типа языков, «в которых существуют данного рода членения предложения и словарного запаса языка» [Мещанинов, 1978: 15]. Такими глобальными функциями признавались значения предмета, атрибута, обстоятельства и т.д. [Мещанинов, 1978: 246]. Части речи рассматриваются как продукт функционирования слов в качестве членов предложения, чем и объясняется их изоморфизм. Аппелируя к работе А.А. Потебни «Из записок по русской грамматике, тт. I–II», Мещанинов определяет части речи в их отношении к членам предложения: «имя существительное выделяется своим выступлением членом предложения предметного значения (подлежащее и дополнение), прилагательное образуется синтаксическим использованием слов в атрибутивном члене предложения (определение), наречия выступают в обстоятельственном члене, глагол отделяется от других частей речи в результате своего выступления сказуемым (членом предложения, выражающим процесс). Здесь, в этом членении предложения, формируются лексические группировки» [Мещанинов, 1978: 246]. В русле идей Мещанинова о взаимосвязи членов предложения и частей речи размышлял и Кацнельсон, определяя статус частей речи в качестве грамматических классов слов как своего рода переходного элемента

между синтаксисом и лексикой языка: «Отношения между членами предложения определяют собой не только грамматический строй языка, но и семантическую структуру словаря. На базе синтаксических отношений вырастает грамматическая группировка слов по частям речи» [Кацнельсон, 1947: 389–390]. В 1950 году Мещанинов отмечал, что восстановление в своих правах морфологии как раздела языкознания мотивируется признанием за частями речи статуса «идеологически самостоятельных единиц» [Мещанинов, 1950, I]. Подобно Мещанинову, Кацнельсон, следуя идеям об универсальности частей речи Э. Сепира, Брендаля, Л.Т. Ельмслева [Кацнельсон, 1948: 126–127; Кацнельсон, 1949, I: 52], всё же критиковал этих учёных за логический априоризм, т.е. за отказ рассматривать части речи в связи с их формированием в речи [Кацнельсон, 1949, I: 52–54]. «Всё своеобразие флективной морфологии проявляется, собственно говоря, лишь в том, что она нуждается в предварительной работе по сведению формы слова к форме словосочетания, в то время как в синтаксической морфологии формы словосочетания даны непосредственно и прямо» [Кацнельсон, 1948: 124]. Такое понимание Кацнельсон связывает с идеями А.М. Пешковского [Кацнельсон, 1948: 117]. Этот путь, по мнению исследователя, должен привести к установлению «гносеологии языка», «выяснению познавательной сущности грамматических форм как своеобразного отражения закономерных связей мира» [Кацнельсон, 1949, I: 21]. Кацнельсон расширяет категорию служебных слов, относя к ним вводные слова и некоторые вспомогательные глаголы и рассматривает наречия со значением видовых и залоговых отношений как особые видовые или залоговые служебные слова [Кацнельсон, 1948]. Морфологическая категория при таком понимании отрывается от связи с отдельным словом, а «непосредственно обнаруживается в формальном строе языка» [Кацнельсон, 1948: 121]. Кацнельсон устанавливает связь между мыслительной категорией и её звуковым выражением. Кацнельсон высказал идею о том, что форма слова сводится к словосочетанию, тем самым, редуцируя грамматику к синтаксису [Кацнельсон, 1949, I: 41]. Кацнельсон отмечал: «главным и решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из контекста слово» [Кацнельсон, 1949, I: 41]. Это положение, на наш взгляд, восходит к утверждению Потебни о том, что «вырванное из связи слово мертво, не функционирует, не обнаруживает ни своих лексических, ни тем более формальных свойств» [Потебня, 1958: 65].

Части речи, таким образом, были определены «новым учением» как инвариант синтаксического употребления слова в качестве члена предложения, возникающий в определённом строе языка, причём такой инвариант имеет потенциальный характер, актуализирующийся в конкретном употреблении слова данной части речи в качестве части речи в предложении: «части речи это те же члены предложения, но проецированные на плоскость отношений между отдельными словами, как члены предложения» [Кацнельсон, 1948: 130].

Очертив то, что так прочно связывало у марристов члены предложения и части речи и, соответственно, явления лексического и грамматического порядков, перейдём к уяснению разницы между этими феноменами. Как мы уже говорили, часть речи и член предложения для марристов находились в отношениях инварианта и варианта соответственно. «Лексические группы (части речи), как уже отмечалось выше, не отождествляются с членами предложения, а лишь вступают с ними в тесную взаимодействующую связь» [Мещанинов, 1978: 247]. Поэтому отнесение слова к той или иной части речи на основании только синтаксического употребления может привести, по Мещанинову, только к построению классификационной схемы, которую учёный характеризовал как «сбивчивую» [Мещанинов, 1978: 247]. Мещанинов считал, что не только члены предложения, но и части речи обладают своими уникальными наборами грамматических категорий, которые определяют отнесённость слов. Некоторые грамматические категории, свойственные частям речи как лексическим классам слов, не всегда можно выделить на основании рассмотрения только синтаксического употребления. Например, слово *столовая* в качестве существительного формально не отличается грамматической категорией рода от слова *столовая* в словосочетании *столовая ложка*. Но эти слова нельзя отождествить, поскольку в первом случае слово потенциально не может иметь формы другого рода, в то время как во втором случае – может [Мещанинов, 1978: 247]. Таким образом, часть речи представляет класс слов, который определяется на основании, в том числе, и грамматических категорий членов предложения, в качестве которых данное слово может выступать в речи. Часть речи конституируется не только синтаксическими, но и лексическими, в терминах марризма, категориями.

Потенциальность функции в предложении является другим важным отличием части речи в противовес актуальности такой функции членов предложения: «Полновесное вещественное слово в каждом языке не есть слово вообще, а слово с конкретными синтаксическими потенциальностями», – пишет Кацнельсон [Кацнельсон, 1948: 130]. Слово определённой части речи, соотносясь с соответствующим членом предложения, может выступать и в качестве другого члена предложения, сохраняя свои грамматические категории и, тем самым, относясь к той же части речи. Таким образом, часть речи предполагает потенциальное использование слова в речи в качестве также и нетипичного для данной части речи члена предложения: «в данном (любом конкретном – Ю. С.) отрезке времени слово выступает как бы в статичном состоянии, при уже сложившейся форме и закрепившемся содержании (ср. слово в словарях разговорного языка). В предложении же слово выступает не в своей статике, а в процессе, т.е. в действии или состоянии» [Мещанинов, 1978: 243]. Исходя из этого, Мещанинов протестовал против отнесения слова к определённой части речи, исходя только из его синтаксической функции: «Так, например, в некоторых научных работах причисляется к наречиям и, в особенности, к модальным словам большая серия имён существительных только потому, что они выступают в строе

предложения обстоятельством или вводным его членом. В итоге получается непроизвольное, но весьма опасное отождествление члена предложения и части речи» [Мещанинов, 1978: 247, 248]. Например, по Мещанинову, употребление слова в позиции определённой части речи является необходимым, но недостаточным, иерархически подчинённым по отношению к отнесённости к лексической категории условием отнесения слова к определённой части речи.

Идея о связи между членами предложения и частями речи в марристском языкознании нашла воплощение и в разработке вопросов генетической связи частей речи и членов предложения, которая восходит к идеям, высказанным А.А. Потебнёй в первом томе его «Записок по русской грамматике» о корреляции частей речи и членов предложения. Как мы уже отмечали, представители «нового учения о языке» были далеки от мысли о частеречном членении лексики языка как об обязательном его (языка) атрибуте. Напротив, часть речи как языковая категория, по мнению марристов, возникает лишь в определенном строе языка. И даже при наличии в языке частеречного деления «части речи могут быть слабо разграничиваемы, несмотря на ясное выделение членов предложения» [Мещанинов, 1978: 248].

Таким образом, марристы именно в своём учении о частях речи максимально реализовали основные методологические установки функционального прагматизма на инвариантный реляционизм (единица определяется её стабильным функциональным и прагматическим отношением к другим единицам) и дуалистический апостериоризм (единица является значимым и ценностным отношением между системой и фактом, семантикой и формой выражения).

Для понимания концепции частей речи и членов предложения в «новом учении о языке» принципиальное значение имеет идея о частях речи и членах предложения как о категориях для языка исторических, а не онтологических: «Части речи имеют свою историю. Они выделяются постепенно, по мере осложнения языкового строя» [Мещанинов, 1978: 242]. Такая трактовка предполагает параллельное (но не обязательно симметричное) развитие членения речевых моделей и словарного состава языка на основании функционирования слова в речи: «слово имеет свою семантику и получает своё обычное синтаксическое использование. Свободным от него слово в речи не воспринимается» [Мещанинов, 1978: 243]. Если на этапе возникновения и начального развития языка член предложения и часть речи ещё не выделяются, то по мере использования слов, возникновения новых понятий, «когда выработались понятия и представления о предмете» [Мещанинов, 1978, с 243], возникло разделение «коммуникации» на речь и «словарь», а с ней и классификация слов, находившая своё отражение и в речи (члены предложения) и в лексике (части речи) [Мещанинов, 1978: 243, 244]. В речевом употреблении, по мнению марристов, слово получает синтаксическое оформление, которое, будучи переосмысленным и, получив внешнее оформление, образует грамматические категории, которые

и конституируют части речи как лексические классы слов и члены предложения как синтаксические категории. Однако возникновение грамматических категорий как непосредственной предпосылки для образования частей речи детерминировано опосредованно семантикой слова, которая определяет потенциальные возможности его синтаксического употребления (так, категория глагола опосредованно возникает из возможности стабильного употребления слова в качестве сказуемого [Мещанинов, 1975]). Происходит процесс технизации грамматических категорий в терминах Абаева: «Идеологическое содержание всякого языкового образования [...] осознаётся говорящим только в период его существования, пока остаётся в силе породившая и питающая его система общественной практики и мировоззрения. После этого идеология речевого образования отживает и забывается, само же образование, его материальная форма, может ещё неопределённо долго продолжать своё существование, но уже в выдохшемся десемантизированном, технизированном виде» [Абаев, 1934: 39]. Постоянное употребление слова в качестве определённого члена предложения придаёт ему свойственные этому члену предложения грамматические категории, «свойственные ему по его синтаксической позиции и закрепляемое за ним как за лексической единицей» [Мещанинов, 1978: 245]. Однако многие грамматические категории, имея даже и исторически синтаксическую природу, становятся на определённом этапе лексическими категориями, вокруг которых группируются части речи (например, категории предмета или действия, которые, по Мещанинову, возникли из разграничения в предложении субъекта и предиката). Комплекс различной степени технизированных грамматических категорий и создаёт части речи и члены предложения. Однако части речи отличаются от членов предложения тем, что если последние представляют собой продукт технизации мышления, то первые – продукт технизации частей речи, созданный носителями языка как инвариант членов предложения и их грамматических категорий.

Таким образом, части речи в марристском языкознании представляют собой инвариантные, по отношению к членам предложения, языковые грамматические категории, коррелирующие с практикой речевого употребления слов в качестве членов предложения, конституирующиеся вокруг наиболее общих категорий слов, имеющих синтаксическую значимость, в некоторых языках, морфологически оформленную.

Методологические представления Н.Я. Марра носили эклектический характер, и, не будучи в полной мере менталистскими, тем не менее, имманентно включали в себя многие важные положения функционального прагматизма. Важное место в методологических представлениях Н.Я. Марра занимают менталистская оценка продуктов опыта (восходящая через Г.В. Плеханова к И. Канту), ослабленная реалистскими социологическими представлениями. Прослеживается чёткая связь представлений Марра с прагматическими взглядами позднего И. Канта, что позволяет

связать марризм с функционализмом (нетождественность языка и мышления, прагматический характер языка, акцент на языковой деятельности («палеонтология речи»), частично интерсубъективная трактовка социальной стороны языка). При этом Марр понимал язык как непосредственно детерминированный сознанием (психикой), что создало предпосылки для полноценной реализации функционально-прагматической онтологии в работах некоторых его последователей. Всё это (даже не фоне полного пренебрежения методикой исследования) создало предпосылки для своеобразной «консервации» в рамках «нового учения о языке» идей функционального прагматизма, вытесненных в начале XX века марксистской метафизикой, феноменологией и позитивизмом, и их последующей реализации в трудах последователей Н.Я. Марра.

В работах последователей Марра и, в первую очередь, И.И. Мещанинова, В.И. Абаева и С.Д. Кацнельсона, чётко прослеживаются черты функционализма, что воплощается как в их онтологических представлениях (социопсихологизм, антропоцентрический ментализм в определении локализации объекта исследования, прагматизм, отход от идеи о жёсткой детерминированности языка обществом, идея об интерсубъективном и коммуникативном статусе языка), так и в собственно лингвистических теориях (ономасиологический подход к исследованию чего?, введение понятийных категорий, определение части речи в связи с явлениями как психомыслительного, так и лексико-номинативного и синтактико-предикативного порядка). При этом марристы возвратились к научному наследию традиционной лингвистики, черпая идеи у О. Есперсена и из функционально-прагматического наследия А.А. Потебни. Следует отметить несколько пониженное внимание марристов к вопросам гносеологии. В то же время, очень показателен отход марристов от четырёхэлементного анализа и постепенное возвращение внимания к методике проведения научного исследования, что позволяет утверждать формирование в марристской среде полноценной методологии, аналогичной в своих основных чертах функциональному прагматизму.

Формирование функционально-прагматической методологии в среде марристов подтверждается совпадением представлений марристов о частях речи как языковом явлении с дедуктивно-апостериорным определением понятия части речи в функционально-прагматической методологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видим, история функционализма в отечественной грамматике берет начало еще во взглядах А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ и, отчасти, Н.Я. Марра, а также их последователей (Н.В. Крушевский, Л.В. Щерба, Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, И.И. Мещанинов; Д. Кацнельсон и др.). Вытеснение функционального прагматизма из российского и советского языкознания было вызвано и естественными (смерть Крушевского и Потебни), и социально-политическими причинами (эмиграция Бодуэна де Куртенэ, Якобсона и Трубецкого). Разгром марризма в 50-е годы минувшего века ознаменовал завершение первого этапа развития функционально-прагматической методологии в отечественной лингвистике. В работе подвергнуты анализу методологические основания грамматических концепций представителей именно этого этапа истории отечественного функционализма (Потебня, школа Бодуэна, марристы).

Методологические основания функционального прагматизма, заложенные в трудах Потебни, Бодуэна де Куртенэ и последователей Н.Я. Марра, были возрождены в конце 60-х–начале 70-х годов минувшего века с возвращением отечественной лингвистики к вопросам синтаксической семантики и возникновением функционально-грамматической школы в советском языкознании (Ленинградская грамматическая школа (С.Д. Кацнельсон, А.В. Бондарко), Московская ономаσιологическая школа (Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.Г. Гак, В.Н. Телия), Воронежская словопроизводственная школа (И.С. Торопцев)). В то же время следует отметить, что современное состояние отечественной лингвистики позволяет ставить вопрос о необходимости дальнейшего развития функционального прагматизма применительно к вопросам языкознания с учётом опыта предыдущих поколений языковедов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

АБАЕВ, 1934: Абаев В.И. Язык как идеология и язык как техника // Язык и мышление. VI–VII. – Л.: АН СССР, 1936.

АБАЕВ, 1948: Абаев В.И. Понятие идиосемантики // Язык и мышление. – М.–Л., 1948. – Т. 11.

АБАЕВ, 1965: Абаев В.И. Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке // Вопросы языкознания. – 1965. – № 3.

АБАЕВ, 1970: Абаев В.И. Отражение работы сознания в лексико-семантической системе языка // Ленинизм и теоретические вопросы языкознания. – М.: Наука, 1970.

АБАЕВ, 1973: Абаев В.И. Общегуманитарные аспекты теоретического языкознания // ИАН ОЛЯ – 1973. – № 6.

АБАЕВ, 1986: Абаев В.И. Parerga 2. Языкознание описательное и объяснительное // ВЯ. – 1986. – № 2.

АВАНЕСОВ, 1951: Аванесов Р.И. «Новое учение» о языке и лингвистическая география // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

АВАНЕСОВ, СИДОРОВ, 1945: Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного языка. Ч. I. Фонетика и морфология. – М.: Учпедгиз, 1945.

АВРОРИН, 1952: Аврорин В.А. Состояние и ближайшие задачи изучения языков народов Севера // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

АДМОНИ, 1988: Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. – Л.: «Наука», 1988.

АМИРОВА, ОЛЬХОВИКОВ, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 1975: Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1975.

АРАКИН, 1952: Аракин В.Д. Ошибки в работах Н.Я. Марра по чувашскому языку // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

АСМУС, 1963: Асмус В. Ф. Проблема интуиции в философии и математике. Очерк истории: XVII–нач. XX вв. – М.: Мысль, 1965.

АСМУС, 1983: Асмус В. Ф. Кант // Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983.

АХМАНОВА, 1951: Ахманова О.С. О характере исследовательских приемов у некоторых представителей «нового учения» о языке // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

АХМАНОВА, 1953: Ахманова О.С. Глоссематика Луи Ельмслева как проявление упадка современного буржуазного языкознания // Вопросы языкознания. – 1953. – № 3.

БАХТИН, 1975: Бахтин М.М. Проблема содержания материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики Исследования разных лет. – М.: Худож. лит., 1975.

БЕЛИНСКИЙ, 1953: Белинский В.Г. Основания русской грамматики для первоначального обучения, составленные Виссарионом Белинским // Полное собрание сочинений. – М.: АН СССР, 1953. – Т. 2.

БЕЛОДЕД, 1973: Белодед И. К. Украинский язык в исследованиях В. В. Виноградова // Вопросы языкознания. – 1973. – № 4.

БЕЛОШАПКОВА, ПРОКОПОВИЧ, 1986: Белошапкова В.А., Прокопвич Н.Н. Предисловие ко второму изданию // Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – М.: Высш. школа, 1986.

БЕЛЫЙ, 1910: Белый А. Мысль и язык (философия языка А.А. Потебни) // Логос. – 1910. – Кн. 2.

БЕРЕЗИН, 1974: Березин Ф.М. К вопросу о философских основах лингвистической теории А.А. Потебни // Методологические проблемы истории языкознания. – М.: Наука, 1974.

БЕРЕЗИН, 1979: Березин Ф.М. История русского языкознания / Учеб. пособие для филол. специальностей. – М.: Высш. школа, 1979.

БЕРЕЗИН, ГОЛОВИН, 1979: Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М.: Просвещение, 1979.

БЕРНШТЕЙН, 1952: Бернштейн С.Б. К проблеме языковых смещений // Против вулгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебrenникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

БІЛОДІД, 1977: Білодід О.І. Граматична концепція О.О. Потебні. – К.: Вища школа, 1977.

БІЛОДІД, 1981: Білодід О.І. Частини мови у граматичному вченні О.О.Потебні // Потебнянські читання / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – К.: Наукова думка, 1981.

БОГОРОДИЦКИЙ, 1935: Богородицкий В.А. Общий курс русской грамматики (из университетских чтений). – М.–Л.: Соцэкгиз, 1935.

БОГОРОДИЦКИЙ, 1939: Богородицкий В.А. Очерки по языковедению и русскому языку / Издание 4-е, переработанное. – М.: Учпедгиз, 1939.

БОДУЭН, 1963А: Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные работы по общему языкознанию / АН СССР, ОЛЯ. – М.: АН СССР, 1963. – Т. 1.

БОДУЭН, 1963Б: Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные работы по общему языкознанию / АН СССР, ОЛЯ. – М.: АН СССР, 1963. – Т. 2.

БОКАДОРОВА, 1986: Бокадорова Н. Ю. Проблемы историологии науки о языке // ВЯ. – 1986. – № 6.

БОНДАРКО, 1971: Бондарко А.В. Вид и время русского глагола (значение и употребление). – М.: Просвещение, 1971.

БОНДАРКО, 1985: Бондарко А.В. Из истории разработки концепции внеязыкового содержания в отечественном языкознании XIX века (К.С. Аксаков, А.А. Потебня, В.П. Сланский) // Грамматические концепции в языкознании XIX. – М.–Л.: Наука, 1985.

БОНДАРКО, 1987: Бондарко А.В. Введение. Основания функциональной грамматики // Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. – Л.: «Наука», 1987. – С. 5–39.

БОРАВЛЕВ, 1992: Боравлев А.А. Морфологические категории русского глагола. – Тернополь: Государственный пединститут, 1992.

БРАЗИЛОВИЧ, 1954: Бразилович А.М. А.А.Потебня о соотношении морфологического, семантического и синтаксического критериев при определении частей речи // XI наукова сесія (Київського ун-ту) присвячена 300-річчю воз'єднання України з Росією. Тези доповідей. Секція філології. – К.: КДУ, 1954.

БУДАГОВ, 1960: Будагов Р.А. Несколько замечаний о понятии отношения в грамматике // Вопросы грамматики. – М.–Л.: АН СССР. – 1960.

БУДАГОВ, 1982: Будагов Р.А. Мы должны знать историю советского теоретического языкознания // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. – 1982. – № 6.

БУЛЫГИНА, 1990: Булыгина Т.В. Литературный язык // Лингвистический энциклопедический словарь / Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990.

БУСЛАЕВ, 1858: Буслаев Ф. Опыт исторической грамматики русского языка: Учебное пособие для преподавателей. Ч. I–II. – М., 1858.

ВАРТОФСКИЙ, 1978: Вартофский М. Эвристическая роль метафизики в науке // Структура и развитие науки. – М.: Прогресс, 1978.

ВИНОГРАДОВ, 1947: Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – М.–Л.: Учпедиз минпросвещения, 1947.

ВИНОГРАДОВ, 1951, I: Виноградов В.В. Значение работ И.В. Сталина для развития советского языкознания // Материалы объединённой научной сессии, посвящённой трудам И.В. Сталина по языкознанию. – М.: АН СССР, 1951.

ВИНОГРАДОВ, 1951: Виноградов В.В. Критика антимарксистских концепций стадильности в развитии языка и мышления (1923–1940) // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ВИНОГРАДОВ, 1964: Виноградов В.В. О преодолении последствий культа личности в советском языкознании // Теоретические проблемы современного советского языкознания. – М.: Наука, 1964.

ВИНОГРАДОВ, 1986: Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – М.: Высш. школа, 1986.

ВИНОГРАДОВ, 1990: Виноградов В.А. Стадильности теория // Лингвистический энциклопедический словарь / Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990.

ВОПРОСЫ, 1968: Вопросы теории частей речи на материале языков различных типов. – Л.: Наука, 1968.

ВЫГОТСКИЙ, 1982: Выготский Л.С. Мышление и речь // Собрание сочинений: В 6-и т. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 2. Проблемы общей психологии / Под. ред. В.В. Давыдова.

ВЫГОТСКИЙ, 1986: Выготский Л.С. Психология искусства / Предисл. А.Н. Леонтьева; Комментар. Л.С. Выготского, В.В. Иванова; Общ. ред. В.В. Иванова. – М.: Искусство, 1986.

ВЫГОТСКИЙ, 1999: Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб.: Союз, 1999.

ГАЛКИНА-ФЕДУРУК, 1952: Галкина-Федорук Е.М. Критика учения Н.Я. Марра о членах предложения и частях речи // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

ГВИШИАНИ, 1990: Гвишиани Н.Б. Метаязык // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990.

ГЛОТОВ, 1995: Глотов А. Иже еси в Марксе. – Зелена Гута, 1995.

ГЛУЩЕНКО, 1998, I: Глущенко В.А. Принципы порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. XIX ст.–20-і рр. XX ст.) / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; відп. ред. О.Б. Ткаченко. – Донецьк, 1998.

ГЛУЩЕНКО, 1998, II: Глущенко В.А. Принципы порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. XIX ст.–20-і рр. XX ст.): Автореф. дис... докт. філол. наук (10.02.15) / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – К., 1998.

ГОРБАНЕВСКИЙ, 1991: Горбаневский М.В. В начале было слово [...]: Малоизвестные страницы советской лингвистики. – М.: УДН, 1991.

ГОРНУНГ, 1951: Горнунг Б.В. Семантические «законы» Н.Я. Марра и вопрос об отношении истории языка к истории материальной культуры // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ГОРНУНГ, 1952: Горнунг Б.В. О критике Н.Я. Марром основ сравнительно-исторического языкознания // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

ГОРСКИЙ, 1975: Горский В.С. Историко-философская оценка учения Канта на Украине (середина XIX–начало XX веков) // Критические очерки по философии Канта. – К.: «Наукова думка», 1975.

ГОРСКИЙ, 1989: Горский Д.П. Дедукция // Философский энциклопедический словарь / Ред. кол. Аверинцев С.С. и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1989.

ГУРЕВИЧ, 1972: Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.: Искусство, 1972.

ГУХМАН, 1952: Гухман М.М. Критика взглядов Н.Я. Марра по вопросам родства языков (На материале германских языков) // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

ГУХМАН, 1955: Гухман М.М. Глагольные аналитические конструкции как особый тип сочетаний частичного и полного слова (на материале истории немецкого языка) // Вопросы грамматического строя. – М.: АН СССР, 1955.

ДАНИЛЕНКО, 1988: Даниленко В.П. Ономастологическое направление в истории грамматики // Вопросы языкознания. – 1988. – № 3.

ДЕБОРИН, 1909: Деборин А.М. Диалектический материализм // На рубеже. – СПб., 1909.

ДЕБОРИН, 1935: Деборин А.М. Новое учение о языке и диалектический материализм. – М.–Л.: АН СССР, 1935.

ДЕБОРИН, 1957: Деборин А.М. Заметки о происхождении и эволюции научных понятий и терминов // Вопросы языкознания. – 1957. – № 4.

ДЕСНИЦКАЯ, 1951: Десницкая А.В. Об антимарксистской теории происхождения языка в общей системе взглядов Н.Я. Марра // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ДЕШИРИЕВ, 1952: Дешириев Ю.Д. Младописьменные и бесписьменные языки и критика ошибочных возражений Н.Я. Марра о скрещении языков // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

ДЕШИРИЕВ, 1977: Дешириев Ю. Д. Социальная лингвистика. – М.: Наука, 1971.

ДЖЕМС, 1995: Джемс В. Прагматизм // Джемс В. Прагматизм / Джемс В.; Пер. с англ. П. Юшкевича. Прагматизм / Ебер М.; Пер. с фр. З. Введенской. Про прагматизм / Юшкевич П. – К.: Украина, 1995.

ДРИНОВ, 1993: Дринов М. Предисловие ко 2-му изданию // Потебня А.А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993.

ДУРНОВО, 1924: Дурново Н.Н. Грамматический словарь (грамматические и лингвистические термины). – М.–Пг.: Изд. А.Д. Френкеля, 1924.

ЕВТЮХИН, 1997: Евтюхин В.Б. Категория обусловленности в современном русском языке и вопросы теории синтаксических категорий. – СПб.: С-Пб. ун-та, 1997.

ЕСПЕРСЕН, 1958: Есперсен О. Философия грамматики. Пер. с англ. В.В. Пассека и С.П. Сафроновой / Под ред. и с предисл. Б.А. Ильяша. – М.: Изд. иностранной литературы, 1958.

ЄРМОЛЕНКО, 1999: Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999.

ЖИНКИН, 1964: Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. – 1964. – № 6.

ЖИРМУНСКИЙ, 1945: Жирмунский В.М. Развитие категории частей речи в тюркских языках по сравнению с индоевропейскими языками // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. – 1945. – Вып. 3–4.

ЖИРМУНСКИЙ, 1952: Жирмунский В.М. Лингвистическая палеонтология Н.Я. Марра и история языка // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

ЖИРМУНСКИЙ, АВРОРИН, 1960: Жирмунский В., Аврорин В. Академик И.И. Мещанинов // Вопросы грамматики: Сборник статей к 75-летию академика И.И. Мещанинова. – М.–Л.: АН СССР, 1960.

ЖОВТОБРЮХ, 1962: Жовтобрюх М.А. Значення праць О.О. Потебни для розвитку вітчизняного мовознавства // Олександр Опанасович Потебня. Ювілейний збірник до 125-річчя від дня народження. – К.: АН УРСР, 1962.

ЖУРАВЛЕВ, 1990: Журавлев В.В. Московская фортунатовская школа // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990.

ЗАЛИЗНЯК, 1967: Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. – М.: Наука, 1967.

ЗВЕГИНЦЕВ, 1951: Звегинцев В.А. Критика семантических законов Н.Я. Марра // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник

статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ЗВЕГИНЦЕВ, 1964: Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 1. – М.: Просвещение, 1964.

ЗЕНЬКОВСКИЙ, 1991: Зеньковский В.В. История русской философии в 4-х тт. – Л.: Эго, 1991. – Т. 4. – Кн. 2.

ЗОЛОТОВА, 1970: Золотова Г.А. К вопросу о типах падежных значений // Русский язык в национальной школе. – 1970. – № 4.

ЗУБКОВА, 1989: Зубкова Л.Г. Лингвистические учения конца XIX–начала XX вв.: Развитие общей теории языка в системных концепциях. Монография. – М.: УДН, 1989. – 212 с.

ИВАНОВ, 1957: Иванов Вяч. Вс. Лингвистические взгляды Е.Д. Поливанова // Вопросы языкознания. – 1957. – № 3.

ИВАНЬО, КОЛОДНАЯ, 1976: Иваньо И.В., Колодная А.И. Эстетическая концепция А. Потебни // Потебня А.А. Эстетика и поэтика / Ред. коллегия: М.Ф. Овсянников (пред.) и др. Сост., вступ. статья и примеч. И.В. Иваньо и А.И. Колодной. – М.: Искусство, 1976.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ, 1964: Из выступлений на общем собрании Отделения литературы и языка Академии наук СССР // Теоретические проблемы современного советского языкознания. – М.: Наука, 1964.

ИЛЬЕНКОВ, 1984: Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал. – М.: Искусство, 1984.

ИСТРИНА, БУБРИХ, 1946: Истрина Е.С., Бубрих Д.В. Рецензия на книгу И.И. Мещанинова «Члены предложения и части речи» // Вестник Акад. Наук СССР. – 1946. – № 4.

КАНТ, 1964: Кант И. Сочинения в шести томах. – М.: Мысль, 1964. – Т. 3.

КАНТ, 1993: Кант И. Прологомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки. – М.: Прогресс, 1993.

КАНТ, 1998: Кант И. Критика чистого разума. – Симферополь: Реноме, 1998.

КАНТ, 1999: Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Метафизические начала естествознания. – М.: Мысль, 1999.

КАРЦЕВСКИЙ, 1962: Карцевский С. Из книги «Система русского глагола» // Вопросы глагольного вида. – М., 1962.

КАЦНЕЛЬСОН, 1936: Кацнельсон С.Д. К генезису номинативного предложения. – М.–Л.: АН СССР, 1936.

КАЦНЕЛЬСОН, 1940: Кацнельсон С. Прогресс языка в концепциях индоевропеистики // Изв. Акад. наук СССР. Отд. лит.-ры и языка, 1940. – № 3.

КАЦНЕЛЬСОН, 1941: Кацнельсон С.Д. Энегельс и языкознание // Изв. Акад. наук СССР. Отд. лит.-ры и языка. – 1941. – № 1.

КАЦНЕЛЬСОН, 1947: Кацнельсон С.Д. Тридцать лет советского общего языкознания // Изв. Акад. наук СССР. Отд. лит.-ры и языка. – 1947. – Т. VI. – Вып. 3.

КАЦНЕЛЬСОН, 1948: Кацнельсон С.Д. О грамматической категории // Вестник Ленингр. ун-та, 1948. – № 2.

КАЦНЕЛЬСОН, 1949, I: Кацнельсон С.Д. Историко-грамматические исследования: Т 1. Из истории атрибутивных отношений. – М.–Л.: АН СССР, 1949.

КАЦНЕЛЬСОН, 1949, II: Кацнельсон С.Д. О возникновении речи. – Л.: АН СССР, 1949.

КАЦНЕЛЬСОН, 1972: Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – Л.: Наука, 1972.

КАЦНЕЛЬСОН, 1985, I: Кацнельсон С.Д. История типологических учений // Грамматические концепции в языкознании XIX века. – Л.: Наука, 1985.

КАЦНЕЛЬСОН, 1985, II: Кацнельсон С.Д. Теоретико-грамматическая концепция А.А. Потебни // Грамматические концепции в языкознании XIX века. – Л.: Наука, 1985.

КВАРЧЕЛИЯ, 1952: Кварчелия А.А. Некоторые ошибки Н.Я. Марра в исследовании абхазского языка // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

КЕЛЛЕ, КОВАЛЬЗОН, 1972: Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Исторический материализм // Большая советская энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров / 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1972. – Т. 10.

КОДУХОВ, 1990: Кодухов В.И. Натуралистическое языкознание // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990.

КОЛЕСОВ, 1985: Колесов В. В. Сравнительно-исторический метод в трудах А.А. Потебни // Наукова спадщина О.О. Потебні і сучасна філологія. До 150-річчя з дня народження О.О. Потебні: Зб. наук праць / Відп. ред. В.Ю. Франчук. – К.: Наук. думка, 1985.

КРИТИЧЕСКИЕ, 1975: Критические очерки по философии Канта. – К.: «Наукова думка», 1975.

КРЫМСКИЙ, 1967: Крымский С. Потебня Александр Афанасьевич // Философская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1967. – Т. 4.

КУБРЯКОВА, 1978: Кубрякова Е.С. Части речи в ономаσιологическом освещении. – М.: Наука, 1978.

КУДРЯВЦЕВ, 1950: Кудрявцев В. К вопросу о классовости языка // Правда, 1950. – 13 июня, № 148.

КУЗНЕЦОВ, 1952: Кузнецов П.С. Ошибки Н.Я. Марра в его взглядах на родство и историческое развитие языков // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

КУЗНЕЦОВА, 1982: Кузнецова Н. И. Наука и её история. – М.: «Наука», 1982.

КУЗЬМИН, 1978: Кузьмин В. П. Системные основания и структуры в методологии К.Маркса // Системные исследования. – М.: Наука, 1978.

КУРИЛОВИЧ, 1962: Курилович Е. Очерки по лингвистике: Сборник статей. – М.: Мысль, 1962.

КУСЬКИЯН, 1952: Куськиан И.К. Ошибки Н.Я. Марра в освещении истории армянского языка // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. кад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

ЛЕВИН, 1951: Левин В.Д. Критика взглядов Н.Я. Марра и его последователей на происхождение русского языка // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ЛЕВКОВСКАЯ, 1951: Левковская К.А. О подходе Н.Я. Марра к словарному составу языка // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ЛЕНИН, 1976: Ленин В.И. Полное собрание сочинений / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М.: Политиздат, 1976. – Т. 18. Материализм и эмпириокритицизм.

ЛЕОНТЬЕВ, 1959: Леонтьев А.А. Общелингвистические взгляды И.А. Бодуэна де Куртенэ (К 30-летию со дня смерти) // Вопросы языкознания. – 1959. – № 6.

ЛЕОНТЬЕВ, 1961: Леонтьев А.А. И.А. Бодуэн де Куртенэ и Петербургская школа русской лингвистики // Вопросы языкознания. – 1961. – № 4.

ЛЕОНТЬЕВ, 1990: Леонтьев А.А. Новое учение о языке // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990.

ЛЕОНТЬЕВ, 1990: Леонтьев А.А. Происхождение языка // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990.

ЛЕЩАК, 1996: Лещак О.В. Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики. – Тернополь: Підручники і посібники, 1996.

ЛЕЩАК, 2001: Лещак О.В. Типологічний нарис лінгвістичних методологій з позицій функціонального прагматизму // Мандрівець. – 2001. – № 5–6.

ЛЕЩАК, 2002: Лещак О.В. Очерки по функциональному прагматизму. Методология – онтология – эпистемология. – Тернополь–Кельце, 2002.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 1990: Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990.

ЛУЦЕНКО, 1993: Луценко Н.А. Взаимодействие парадигм в грамматике. «Философия морфемы» // Философия языка: в границах и вне границ. – Харьков: Око, 1993.

ЛЫТКИН, 1952: Лыткин В.И. О некоторых этимологиях Н.Я. Марра по угро-финским языкам // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

МАРР, 1926: Марр Н.Я. и др. Языковедение и материализм / Ред. Н.Я. Марр. – Л.: Прибой, 1926.

МАРР, 1930: Марр Н.Я. Родная речь – могучий рычаг культурного подъема. – Л.: Соцэкгиз, 1930.

МАРР, 1932: Марр Н.Я. К бакинской дискуссии о яфетидологии в марксизме. – Баку, 1932.

МАРР, 1933, I: Марр Н. Я. Вопросы языка в освещении яфетической теории: Избранные отрывки из работ Н.Я. Марра / Сост. В.Б. Аптекарь. – Л.: ГАИМК, 1933.

МАРР, 1933, II: Марр Н.Я. Избранные работы / АН СССР. Гос. акад. истории материальной культуры. – М.: Соцэкгиз, 1933. – Т. 1. Этапы развития яфетической теории.

МАРР, 1934: Марр Н.Я. Избранные работы / АН СССР. Гос. акад. истории материальной культуры. – М.: Соцэкгиз, 1934. – Т. 3. Язык и общество.

МАРР, 1936: Марр Н.Я. Избранные работы / АН СССР. Гос. акад. истории материальной культуры. – Л.: Соцэкгиз, 1936. – Т. 2. Основные вопросы языкознания.

МАРР, 1937, IV: Марр Н.Я. Избранные работы / АН СССР. Гос. акад. истории материальной культуры. – М.: Соцэкгиз, 1937. – Т. 4. Основные вопросы теории языка.

МАРР, 1937, V: Марр Н.Я. Избранные работы / АН СССР. Гос. акад. истории материальной культуры. – М.: Соцэкгиз, 1937. – Т. 5. Этно-глотогония языков Восточной Европы.

МАРР, 2002: Марр Н.Я. Яфетидология. – М.: Кучково поле, 2002.

МАРТЫНОВ, 1982: Мартынов В.В. Категории языка (Семасиологический аспект). – М.: Наука, 1982.

МАТВЕЕВА-ИСАЕВА 1948: Матвеева-Исаева Л.В. Словосочетания и их семантическое значение в составе предложения // Учёные записки Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена, 1948. – Т. 59.

МАТЕЗИУС, 1967: Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения // Пражский лингвистический кружок / Сб. стат. Сост., ред. и предисл. Н.А. Кондрашова. – М.: Прогрес, 1967.

МАТЕЗИУС, 1967: Матезиус В. Попытка создания структурной грамматики // Пражский лингвистический кружок / Сб. стат. Сост., ред. и предисл. Н.А. Кондрашова. – М.: Прогрес, 1967.

МЕЛЬНИЧУК, 1977: Мельничук А.С. Рецензия на книгу: «Панфилов В.З. Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты» // Вопросы языкознания. – 1977. – № 4.

МЕЛЬНИЧУК, 1981: Мельничук О.С. Світіогляд О.О. Потебні // Потебнянські читання / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 5–14.

МЕЩАНИНОВ 1929: Мещанинов И.И. Введение в яфетидологию. – Л. «Прибой», 1929.

МЕЩАНИНОВ, 1936: Мещанинов И.И. Новое учение о языке. Стадиальная типология: Курс лекций, составленный на основе конспекта студента ЛИФЛИ Б. Краповича, с соответствующими дополнениями. – Л.: Соцэкгиз, 1936.

МЕЩАНИНОВ, 1940: Мещанинов И.И. Очередные задачи советского языкознания // Изв. Акад. наук СССР. Отд. лит-ры и языка. – 1940. – № 3.

МЕЩАНИНОВ, 1945, I: Мещанинов И.И. Н.Я. Марр (к 11-летию со дня смерти) // Изв. Акад. наук СССР. Отд. лит-ры и языка. – 1945. – Т. IV. – Вып. 3–4.

МЕЩАНИНОВ, 1945, II: Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. – М.–Л.: АН СССР, 1945.

МЕЩАНИНОВ, 1945, III: Мещанинов И.И. Понятийные категории в языке // Труды Военного института иностранных языков. – 1945. – № 1.

МЕЩАНИНОВ, 1947, I: Мещанинов И.И. Учение Н.Я. Марра о стадильности // Изв. Акад. наук СССР. Отд. лит-ры и языка, 1947. – Т. VI. – Вып. 1.

МЕЩАНИНОВ, 1947, II: Мещанинов И.И. Проблема стадильности в развитии языка // Изв. Акад. наук СССР. Отд. лит-ры и языка, 1947. – Т. VI, вып. 3.

МЕЩАНИНОВ, 1948: Мещанинов И.И. Новое учение о языке на современном этапе развития // Русский язык в школе. – 1948. – № 6.

МЕЩАНИНОВ, 1949, I: Мещанинов И.И. К истории отечественного языкознания. – М.: Учпедгиз, 1949.

МЕЩАНИНОВ, 1949, II: Мещанинов И.И. Марр – основатель советского языкознания // Изв. Акад. наук СССР. Отд. лит-ры и языка, 1949. – Т. VIII. – Вып. 4.

- МЕЩАНИНОВ, 1949, III: Мещанинов И.И. Глагол. – М.–Л.: АН СССР, 1949.
- МЕЩАНИНОВ, 1950, I: Мещанинов И.И. За творческое развитие наследия Н.Я. Марра // Правда, 1950. – 16 мая. – № 136.
- МЕЩАНИНОВ, 1950, II: Мещанинов И.И. Письмо в редакцию газеты «Правда» // Правда, 1950. – 4 июля. – № 185.
- МЕЩАНИНОВ, 1975: Мещанинов И.И. Общее языкознание. К проблеме стадийности в развитии строя предложения // Проблемы развития языка. – Л.: Наука, 1975.
- МЕЩАНИНОВ, 1978: Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи – Л.: Наука, 1978.
- МИКАИЛОВ, 1952: Микаилов Ш.И. Против антинаучной трактовки Н.Я. Марром данных по дагестанским горским языкам // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.
- МИЛОСЛАВСКИЙ, 1981: Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка. – М. Просвещение, 1981.
- МОЛОТКОВ, 1960: Молотков А.И. Трудные случаи лексико-грамматической характеристики слов это и то в русском языке // Вопросы грамматики: Сборник статей к 75-летию академика И.И. Мещанинова. – М.–Л.: АН СССР, 1960.
- МОРФОЛОГИЯ, 1968: Морфология и синтаксис современного русского языка / В.Л. Воронцова, Л.К. Граудина: М. Кузьмина и др. – М.: Наука, 1968.
- НИКИФОРОВ, 1950: Никифоров С. История русского языка и теория Н.Я. Марра // Правда, 1950. – 13 июня.
- НИКОЛАЕВА, 1996: Николаева Т.М. Теории происхождения языка и его эволюции – новое направление в современном языкознании // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
- ОРЛОВА, 1951: Орлова В.Г. Работы диалектологов марровского направления («Воронежские диалекты» Н.П. Гринковой) // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.
- ОСТРЯНИН, 1962: Острянин М.Х. Філософське значення наукової спадщини О.О. Потебні // Олександр Опанасович Потебня. Ювілейний збірник до 125-річчя від дня народження. – К.: АН УРСР, 1962.
- ПАДУЧЕВА, 1967: Падучева Е.В. Способы выражения тождества упоминаемых объектов в связном тексте // Труды III Всесоюзной конференции по автоматической обработке информации. – М., 1967. – Т. II.
- ПАНОВ, 1960: Панов М.В. О частях речи в русском языке // Филологические науки – 1960. – № 4.
- ПАНОВ, 1966: Панов М.В. Русский язык // Языки народов СССР. – М., 1966. – Т. 1.
- ПАНОВ, 1971: Панов М.В. Об аналитических формах прилагательных // Фонетика. Фонология. Грамматика. – М., 1971.
- ПАНФИЛОВ, 1977: Панфилов В. З. Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты. – М.: Наука, 1977.
- ПАШКОВА, 1975: Пашкова А.А. Кант и философия на Украине начала XIX века // Критические очерки по философии Канта. – К.: Наукова думка, 1975.

ПЕТЕРСОН, 1952: Петерсон М.Н. Эклектизм и антиисторизм взглядов И.И. Мещанинова на члены предложения и части речи // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

ПЕШКОВСКИЙ, 1956: Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М.: Учпедгиз, 1956.

ПЛЕХАНОВ, 1956: Плеханов Г.В. О мнимом кризисе марксизма // Плеханов Г.В. Избранные работы. – М.: Соцэкгиз, 1956. – Т. 2.

ПЛЕХАНОВ, 1958: Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма // Плеханов Г.В. Избранные работы. – М.: Соцэкгиз, 1958. – Т. 3.

ПОЛИВАНОВ, 1991, I: Поливанов Е.Д. Лекции по введению в языкознание и общей фонетике // Труды по восточному и общему языкознанию. – М.: Наука, 1991.

ПОППЕР, 1992: Поппер К.Р. Открытое общество и его враги / Пер. с англ. под ред. В.Н. Садовского. – М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. – Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы.

ПОППЕР, 1994: Поппер К. Злиденність історизму: Пер. з англ. – К.: Абрис, 1994.

ПОСПЕЛОВ, 1951: Поспелов Н.С. Понятие грамматической категории у Н.Я. Марра и его последователей // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ПОСПЕЛОВ, 1954: Поспелов Н.С. Учение о частях речи в русской грамматической традиции. – М., 1954.

ПОСТОВАЛОВА, 1982: Постовалова В.И. Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В.Гумбольдта. – М.: Наука, 1982.

ПОТЕБНЯ, 1864: Потебня А.А. О связи некоторых представлений в языке // Филологические записки. – 1864. – Вып. 3.

ПОТЕБНЯ, 1905: Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – Харьков, 1905.

ПОТЕБНЯ, 1914: Потебня А.А. Из лекций по теории словесности: Басня. Пословица. Поговорка / Изд. М.В. Потебни. – Харьков: Тип. «Мирный труд», 1914.

ПОТЕБНЯ, 1941: Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. IV: Глагол. Местоимение. Числительное. Предлог / АН СССР; Институт языка и мышления им. Н.Я. Марра – М.–Л.: АН СССР, 1941.

ПОТЕБНЯ, 1958: Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. – М.: Учпедгиз, 1958.

ПОТЕБНЯ, 1962: Потебня А.А. Вступительная лекция к исторической грамматике русского языка // Олександр Опанасович Потебня. Ювілейний збірник до 125-річчя від дня народження. – К.: АН УРСР, 1962.

ПОТЕБНЯ, 1976: Потебня А.А. Эстетика и поэтика / Ред. коллегия: М.Ф. Овсянников (пред.) и др. Сост., вступ. статья и примеч. И.В. Иванько и А.И. Колодной. – М.: Искусство, 1976.

ПОТЕБНЯ, 1981: Потебня А.А. История русского языка. Лекции, читанные в 1882/3 академическом году в Харьковском университете (Публикация С.Ф. Самойленко) // Потебнянські читання / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – К.: Наукова думка, 1981.

ПОТЕБНЯ, 1986: Потебня А.А. Автобиографическое письмо // Франчук В.Ю. А.А. Потебня: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1986.

ПОТЕБНЯ, 1990: Потебня А.А. Из лекций по теории словестности // Потебня А.А. Теоретическая поэтика / Сост., вступ. ст., коммент. А.Б. Муратова. – М.: Высшая школа, 1990.

ПОТЕБНЯ, 1993: Потебня А.А. Мысль и язык. – К: Синто, 1993.

ПРАШИН, 1996: Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятёж в лингвистике XX века // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.

ПРЕДИСЛОВИЕ, 1951: Предисловие // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

РАССЕЛ, 1995: Рассел Б. Історія західної філософії / Пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Тарашука. – К.: Основи, 1995.

РЕФОРМАТСКИЙ, 1960: Реформатский А.А. Число и грамматика // Вопросы грамматики. Сборник статей к 75-летию академика И.И. Мещанинова. – М.–Л.: АН СССР, 1960.

РИФТИН, 1946: Рифтин А.П. Основные принципы построения теории стадий в языке // Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. – Л.: ЛГУ, 1946.

РОГАВА, 1951: Рогава Г.В. О некоторых образцах вульгарно-материалистического толкования истории абхазского и адыгских (черкесских) языков // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 1990: Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. – М.: Высш. шк., 1990.

РУССКАЯ ГРАММАТИКА, 1982: Русская грамматика. – Москва, 1982. – Т. 1.

САБОЩУК, 1990: Сабощук А.П. Гносеологический анализ психофизиологических механизмов генезиса мышления / Отв. ред. д. филос. наук Н.Г. Михай. – Кишинев: Штиинца, 1990.

САНЖЕЕВ, 1950: Санжеев Г. Либо вперед, либо назад // Правда. – 1950. – 23 мая, № 138.

СЕПИР, 1993: Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи // Сепир Э. Избранные работы по языкознанию и культурологии. – М.: Прогресс, 1993.

СЕРЕБРЕННИКОВ, 1950: Серебренников Б. Об исследовательских приемах Н.Я. Марра // Правда. – 1950. – 23 мая. – № 150 (11622).

СЕРЕБРЕННИКОВ, 1952: Серебренников Б.А. Критика учения Н.Я. Марра о единстве глоттогенического процесса // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

СЕРЕБРЕННИКОВ, 1964: Серебренников Б.А. О ликвидации последствий культ личности Сталина в языкознании // Теоретические проблемы современного советского языкознания. – М.: «Наука», 1964.

СЕРЕБРЕННИКОВ, 1983: Серебренников Б.А. О материалистическом подходе к явлениям языка. – М.: Наука, 1983.

СЕРЕБРЕННИКОВ, 1990: Серебренников Б.А. Части речи // Лингвистический энциклопедический словарь. – Москва, 1990.

СИТЬКО, 1999: Ситько Ю. Анализ понятия части речи у А.А. Потебни // Bulletin České asociace rusistů. – 1999. – Číslo 13/A.

СИТЬКО, 2000, I: Ситько Ю. Синхрония и диахрония как методологическая проблема функциональной грамматики // *Rozważania metodologiczne: Język – literatura – teatr / Praca zbiorowa pod red. Edwarda Kasperskiego.* – Warszawa, 2000.

СИТЬКО, 2000, II: Ситько Ю. Статус части речи в грамматических построениях последователей Н.Я. Марра (методологический аспект проблемы) // *Studia methodologica.* Випуск 7. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2000.

СИТЬКО, 2002, I: Ситько Ю.Л. Эскиз гносеологии А.А. Потебни // *Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения» 2002 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2002»* / Под. ред. В.А. Иванова, В.И. Кузищина, А.Н. Новачихиной, В.А. Трифонова. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2002.

СИТЬКО, 2002, II: Ситько Ю.Л. Этюд об отношении марксизма и кантианства к построениям Н.Я. Марра // *Studia methodologica.* Випуск 10. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2002.

СИТЬКО, 2002, III: Ситько Ю. Этюд о предлогах и союзах в русском языке и их отношении к знаменательным словам // *Studia methodologica.* Випуск 11. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2002.

СКОРИК, 1952: Скорик П.Я. «Теория стадиальности» и инкорпорация в палео-азиатских языках // *Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей* / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

СЛАВЯНСКОЕ, 1968: Славянское языкознание: VIII Международный съезд славистов. – М.: Наука, 1978.

СЛЮСАРЕВА, 1979: Слюсарева Н.А. Методологический аспект понятия функции языка // *Известия АН СССР. Сер. лит. и яз.* – 1979. – Т. 38. – № 2.

СЛЮСАРЕВА, 1981: Слюсарева Н.А. Проблемы функционального синтаксиса современного русского языка. – М., 1981.

СЛЮСАРЕВА, 1990: Слюсарева Н.А. О заметках Ф. де Соссюра по общему языкознанию // *Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике: Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. ст. и коммент. Н.А. Слюсаревой.* – М.: Прогресс, 1990.

СОКОЛОВ, 1903: Соколов Н.Н. [рец.] Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни. Изложил И. Белорусов. Орёл, 1902 // *Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности.* – 1903. – Т. 8. – Кн. 2.

СОЛНЦЕВ, 1977: Солнцев В.М. Языковой знак и его свойства // *Вопросы языкознания.* – 1977. – № 2.

СОССЮР, 1990: Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике: Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. ст. и коммент. Н.А. Слюсаревой. – М.: Прогресс, 1990.

СОССЮР, 1998: Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / Пер. з фр. А. Корнійчука та К. Тищенко. – К.: Основи, 1998.

СТАЛИН, 1950: Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкознания. – М.: Госполитиздат, 1950.

СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ, 1954: Стеблин-Каменский М.И. Об основаниях, по которым выделяются традиционные части речи // *Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета (Института языкознания АН СССР), посвящённом дискуссии о проблеме частей речи в языках различных типов.* – М.: АН СССР, 1954.

СТЕПАНОВ, 1973: Степанов Ю.С. Семиотическая структура языка (три функции и три формальных аппарата языка) // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1973. – Т. 32. – № 4.

СУНИК, 1952: Суник О.П. Критика взглядов Н.Я. Марра на грамматику // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

СУНИК, 1966: Суник О.П. Общая теория частей речи. – М.–Л.: «Наука», 1966.

СУПРУН, 1971: Супрун А.Е. Части речи в русском языке. – М.: «Просвещение», 1971.

СУХОТИН, 1951: Сухотин В.П. Критика «учения» Н.Я. Марра о «классовости» языка // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ТИХОМИРОВА, 1973: Тихомирова Т.С. К вопросу о переходности частей речи // Филологические науки. – 1973. – № 5.

ФЕДОРОВА, 1981: Федорова М.В. об «эзоповом языке» в трудах А.А. Потебни // Потебнянські читання / АН УРСР; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – К.: Наукова думка, 1981.

ФЕДОСЕЕВ, 1964: Федосеев П.Н. Некоторые вопросы развития советского языкознания // Теоретические проблемы современного советского языкознания. – М.: «Наука», 1964.

ФИЛИН, 1935: Филин Ф.П. Методология лингвистических исследований А.А. Потебни // Язык и мышление, тт. 3–4. – М.–Л.: АН СССР, 1935.

ФИЛИН, 1941: Филин Ф. Предисловие // Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. IV: Глагол. Местоимение. Числительное. Предлог / АН СССР; Институт языка и мышления им. Н.Я. Марра. – М.–Л.: АН СССР, 1941.

ФИЛИН, 1951: Филин Ф.П. О некоторых важнейших ошибках в разработке истории русского языка // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ, 1968: Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. – М.: Издательство политической литературы, 1968.

ФІЗЕР, 1993: Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні: Метакритичне дослідження. – К.: KM Academia, 1993.

ФЛОРЕНСКИЙ, 1990: Флоренский П.А. У водоразделов мысли // Сочинения в 2-х тт. – М.: Правда, 1990. – Т. 2.

ФОРТУНАТОВ, 1956: Фортунатов Ф.Ф. Сравнительное языкознание (общий курс) // Избранные труды в 2-х тт. – М.: Учпедгиз, 1956. – Т. 1.

ФРАНКЛ, 1990: Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.

ФРАНЧУК, 1975: Франчук В.Ю. Олександр Опанасович Потебня. – К.: Наукова думка, 1975.

ФРАНЧУК, 1986: Франчук В.Ю. А.А. Потебня: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1986.

ФРАНЧУК, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 1990: Франчук В.Ю., Рождественский Ю.В. Харьковская лингвистическая школа // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990.

ХРЕСТОМАТИЯ, 1977: Хрестоматия по истории русского языкознания / Сост. Ф.М. Березин. – М.: «Высш. школа», 1977.

ЧЕМОДАНОВ, 1950: Чемоданов Н. Пути развития советского языкознания // Правда. – 1950. – 23 мая. – № 150 (11622).

ЧЕМОДАНОВ, 1956: Чемоданов Н.С. Сравнительное языкознание в России: Очерк развития сравнительно-исторического метода в русском языкознании. – М.: Учпедгиз, 1956.

ЧЕРКАСОВА, 1951: Черкасова Е.Т. Вопросы русской лексикологии в работах «нового учения» о языке // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ЧЕСНОКОВ, 1966: Чесноков П.В. Основные единицы языка и мышления. – Ростов, 1966.

ЧИКОБАВА, 1952: Чикобава А.С. К вопросу об историзме в языкознании в свете трудов И.В. Сталина // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

ЧИКОБАВА, 1985: Чикобава А.С. Когда и как это было // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. XII. – Тбилиси, 1985.

ШАНСКИЙ, 1988: Современный русский литературный язык / Под ред. Н.М. Шанского. – Ленинград, 1988.

ШАПИРО, 1952: Шапиро А.Б. Вопросы письма и правописания в работах Н.Я. Марра и его последователей // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

ШАРАДЗЕНИДЗЕ, 1952: Шарадзенидзе Т.С. Стадиальная классификация Н.Я. Марра в свете учения И.В.Сталина о языке // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В.Виноградова и Б.А.Серебренникова. Ч. II.– М.: АН СССР, 1952.

ШАРАДЗЕНИДЗЕ, 1980: Шарадзенидзе Т. С. Лингвистическая теория И.А. Бо-дуэна де Куртенэ и её место в языкознании XIX–XX веков. – М., 1980.

ШАХМАТОВ, 1941: Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. – Л.: Учпедгиз, 1941.

ШАХМАТОВ, 1952: Шахматов А.А. Из «Синтаксиса русского языка» // Из трудов А.А. Шахматова по современному русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1952.

ШВЕДОВА, 1951: Шведова Н.Ю. Методологические ошибки сторонников «нового учения» о языке в исследованиях по вопросам русского синтаксиса // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ШВЕДОВА, 1985: Шведова Н.Ю. Один из возможных путей построения функциональной грамматики русского языка // Проблемы функциональной грамматики. – М.: Наука, 1985.

ШИШМАРЕВ, 1951: Шишмарев В.Ф. Работа Н.Я. Марра в области языков романо-германского мира // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. I. – М.: АН СССР, 1951.

ШПЕТ, 1989: Шпет Г.Г. Сочинения / Приложение к журналу «Вопросы философии». Пред. Е.В. Пастернак. – М.: Правда, 1989.

ЩЕРБА, 1957: Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1957.

ЩЕРБА, 1974: Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974.

ЭЙНШТЕЙН, 1967: Эйнштейн А. Собрание научных трудов в 4-х тт. – М.: Наука, 1967. – Т. 4. Статьи, рецензии, письма. Эволюция физики.

ЭПШТЕЙН, 2000: Эпштейн М. Постмодернизм в России. Литература и теория. – М.: Издание Р. Эмина, 2000.

ЮДИН, 1983: Юдин Э.Г. Агностицизм // Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983.

ЯКОБСОН 1958: Якобсон Р.О. Морфологические наблюдения над славянским склонением: American Contribution to the Fourth International Congress of Slavistics (Moscow). – Гаара, 1958.

ЯКОБСОН, 1965: Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. – М.: Наука, 1972.

ЯРЦЕВА, 1952: Ярцева В.Н. Смешение лексики с грамматикой в «теории» Н.Я. Марра // Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании: Сборник статей / Под ред. акад. В.В. Виноградова и Б.А. Серебренникова. Ч. II. – М.: АН СССР, 1952.

ЯРЦЕВА, 1964: Ярцева В.Н. О методах анализа языка // Теоретические проблемы современного советского языкознания. – М.: Наука, 1964.

BAUDOUIN, 1984: Baudouin de Courtenay J. O języku polskim / Wybór prac pod red. J. Basary i M. Szymczaka. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

DOKULIL, 1962: Dokulil M. Tvoření slov v češtině. Teorie odvozování slov. D. 1, Praha, 1962.

HAVRÁNEK, 1951: Havránek B. Dva roky po stalinově geniálním zásahu do vývoje jazykovědy, v: Slovo a slovesnost, 1951, nr. 1.

HEINZ, 1978: Heinz A. Dzieje językoznawstwa w zarysie. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.

JADACKI, 1980: Jadacki J. J. Spiritus metaphysicae in corpore logicorum czyli o dziedzienie przedmiotowej języka i starej zagadce bytu, [w:] «Studia Filozoficzne», 1980, nr. 9.

LESZCZAK, 2001: Leszczak O.W. Szkic typologiczny metodologii nauk humanistycznych // The Peculiarity of Man, Vol. 6. – Warszawa–Kielce, 2001.

MATHESIUS, 1966: Mathesius V. Řeč a sloh, Praha, 1966.

MATHESIUS, 1982: Mathesius V. Jazyk, kultura a slovesnost. – Praha, 1982.

SGALL, 1951: Sgall P. Stalinovy články o jazykovědě a pražský strukturalismus, v: Slovo a slovesnost, 1951, nr. 1.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ.....	5
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ЛИНГВИСТИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО- ПРАГМАТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ	5
Гносеологический аспект определения объекта лингвистики с точки зрения функционально-прагматической методологии.	13
Методический аспект определения объекта лингвистики с точки зрения функционально-прагматической методологии.	15
Дедуктивное определение части речи с точки зрения функционально-прагматической методологии (рабочая гипотеза к методологической типологии)	17
Проблема становления функционально-прагматической методологии в российском языкознании второй половины XIX–начала XX веков (исторический очерк)	21
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЯМ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ	25
Методологические взгляды А.А. Потебни	25
Философия языка А.А. Потебни	27
Онтологический статус части речи и его определение в работах А.А. Потебни	42
Часть речи как семиотическая функция	46
Часть речи как грамматическая функция.....	47
Часть речи в системе внутренней формы языка	50
Общеметодологические взгляды Бодуэна и его последователей	53
Часть речи как семиотическая функция	70
Часть речи как грамматическая функция.....	70
Часть речи в системе внутренней формы языка	72

«НОВОЕ УЧЕНИЕ О ЯЗЫКЕ» Н.Я. МАРРА, ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЯМ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ	78
Онтологические представления в построениях Н.Я. Мара как основание методологических представлений некоторых из его последователей	79
Онтологический статус части речи	94
Часть речи как семиотическая функция	99
Часть речи как грамматическая функция	103
Часть речи в системе внутренней формы языка	104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	111
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	112

Наукове видання

СИТЬКО

Юрій Леонідович

**ПОБУТУВАННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
У ВІТЧИЗНЯНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
60-х років ХІХ століття І-ої половини ХХ століття
(на прикладі поняття частини мови)**

Коректор - Л.В.Ільїна

Комп'ютерне складання - Ю.Л.Ситько

Адреса редакції:

наб.Корнілова, 1, 99011, м. Севастополь, тел. (0692) 550651.

Підписано до друку 19.11.2007 р.

Формат 60*90/16. Друк флексографічний. Ум. друк. арк. 4,8. Наклад 300.

Розповсюджується безкоштовно.

Видавництво та типографія ТОВ «Рібест», м. Севастополь, вул.

Б.Міхайлова, 23.

Відповідальний за випуск В.В.Федюшин.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої діяльності в Державний
реєстр видавців, виготовників та розповсюджувачів видавничої
продукції ДК № 190 від 20.09.2000 р.